

Яков Лотовский



Отложенный выстрел

Рассказ

Историю эту я услышал в русском доме отдыха в Кэтскильских горах, где мы с женой решили провести наш отпуск в родной среде. Надо признать, что это были две недели роскошного даже для Америки питания и комфорта. Ни дать, не взять – санаторий ЦК КПСС!

Главным аттракционом здесь были ежевечерние танцы в курзале. Бывалый ресторанный певец при помощи своей электронной машины умел извлечь из Интернета любой песенный текст и аккомпанемент. Особенно он был хорош, когда видел перед собой танцующие пары. Но танцевали здесь не очень охотно. Контингент отдыхающих составляли в основном «русские» старики, то есть пожилые и вовсе старые советские евреи. Они сидели сиднем вокруг танцевального паркета и, сыто вздрагивая после ужина, следили за редкими танцорами. Чтобы раззадорить их к танцам, наш маэстро предложил заказывать, что кому по душе. Его начинание имело успех. Посыпались заказы, зашаркало больше подошв по паркету. Трогательно было видеть какую-нибудь ветхую, ревматическую пару, что едва двигала ногами, держась друг за друга и не очень попадая в такт.

Меня только смутил характер заказываемых «Поручик Голицын», «Господа офицеры», «Золотые погоны», «Очи черные», «Эскадрон», «Есаул» – все какое-то белогвардейское, казацкое, кабацкое. Странно было все это видеть здесь и слышать. Как верно заметила жена: такое впечатление, что здесь собрались не евреи, а господа офицеры, первая волна русской эмиграции. Сперва это меня позабавило, но потом понемногу стало раздражать.

На другой вечер «белогвардейщина» расцвела еще более махровым цветом. Во мне уже закипала злость. Последней каплей стал совсем уж дремучий заказ одного еврея из Молдавии, красномясого мужлана, с крепким заливком. Ему благоугодно было услышать «Любо, братцы, любо». Видеть евреев, шаркающих по паркету под столь тоскливый, разбойный напев, исполняемый тоже евреем, – нелепее не придумаешь, чистый *сюр*. Ибо представляешь себе воющего махновца над стаканом самогона, у которого душа скулит после учиненного погрома в местечке. Я расстроился и покинул зал, хлопнув дверью. Жена последовала за мной, хотя уходить ей не очень хотелось. Она надеялась еще потанцевать с Изей, высоким, галантным мужчиной, бывшим военным летчиком, участником Отечественной войны, который в свои восемьдесят четыре года очень изящно вальсировал среди толкшихся на месте пар, бережно ведя даму и легко проделывая замысловатые па, точно фигуры высшего пилотажа. Жена чуть погодя всё же вернулась в зал. Не стоять же ей со мной, нервно дымившим второй подряд сигаретой, и выслушивать мое ворчанье по поводу странной этой ностальгии. Я ее понимал. Я и сам хотел бы танцевать, как этот Изя.

Я остался один под фонарем, стараясь осмыслить сей примечательный феномен, явленный моими земляками, что уехали сюда в Штаты от антисемитизма.

– Молодой, человек, прошу прощения, – раздался за моей спиной голос. – Мне показалось, что вы ушли чем-то расстроены.

Я обернулся. Передо мной стоял один из моих сотрапезников по столу. Седой, смуглолицый, с настороженным прищуром, он всегда сидел с краю за нашим столом на десять кувертов и большей частью помалкивал, не участвовал в застольном балагурстве. Единственный звук, который он часто издавал, было цыканье зубом с каким-то причмоком, наподобие кучерского. Сперва я думал, что он таким манером извлекает остатки пищи из зубов. Но он и до еды чмокал, оставляя впечатление некоторого самодовольства и этакой фатоватости – мне, мол, все здесь побоку, сто раз все это видано и слышано.

– Странный, – говорю ему, – народ наши советские евреи. Убежали в Америку от антисемитизма, а здесь поют казацкие песни.

Он лишь пожал плечами и на свой лад почмокал губами – мол, мне бы ваши заботы.

Но я продолжил:

– Черт возьми, если у вас ностальгия, разве не было прекрасных советских песен? Я думаю, песни – это лучшее, что осталось от советской власти. Я уж молчу о том, что ни одна душа не вздумала заказать что-нибудь еврейское, да те же «семь-сорок», под которую пляшут все, даже антисемиты. Или, скажем, «Друзья купите папиросы». Я не националист, но... но – вы же все-таки евреи.

– А что же вы не заказали? – сказал он, еще поцыкав зубом.

Я проглотил упрек.

– Значит, и я плохой еврей.

Он вздохнул и примирительно произнес:

– Ой, а кто знает, что такое еврей. Вы знаете, что такое еврей?

– Ну, как? – замялся я, не зная с чего начать.

– Вот и я теперь не знаю. Когда у нас там была пятая графа, я знал. А теперь не знаю.

– Особенно после одного случая, – подумав, прибавил он.

– Что за случай?

Он помолчал, взвешивая, рассказывать или нет. И, видимо, решившись, активно зачмокал губами. Я расценил эти звуки, как подготовку разговорного аппарата к работе.

– Хорошо. Я вижу, вам это будет интересно. Отойдемте только подальше. А то тут музыка гремит.

Мы спустились по откосу к озеру. Сюда звуки курзала едва доносились. Он еще несколько раз причмокнул и стал рассказывать.

Случилось это несколько лет назад. Уже здесь, в Америке.

На дворе был июль. Середина месяца. Как раз поспела дикая малина. В одно прекрасное утро беру свой бидончик, сажусь в автобус и еду в парк. Есть там такой у нас Пэннипек-парк. Там малины полно. Дикая малина здесь мало кого интересует. Пронесется мимо в своих машинах по Баслтон-авеню. А я люблю ее собирать. Может, потому, что я человек пеший. Никогда за руль не садился. Пожилым в Америку приехал. Поздновато учиться пенсионеру.

Короче, приезжаю в парк. С утра уже жарко. У нас в Филадельфии лето горячее, влажное, баня. В парке тоже не намного прохладней. Пока добрался до косогора с малинником, упарился. Да еще кустарник на солнцепеке. Но это мои угодья. В стороне от асфальтовых дорожек, где велосипедисты, бегуны, а кто верхом на лошадях – на прокат берут.

Кусты усыпаны спелой ягодой. Сюда еще никто не добирался. Вообще редко кого здесь вижу. Никому нет дела до дикой малины. Что трудиться собирать, когда можно

купить в магазине культурную, садовую? А тут, чего доброго, еще подхватишь клеща или ужалишься ядовитым вьюнком, *пойзон айви*. Здесь над здоровьем трясутся: дорогое лечение, лекарства.

Ягода дошла – нежная, сочная, вот-вот начнет осыпаться. Здешняя малина не такая сладкая, какой бывала там, в наших лесах, и зёрен многовато, хрустят на зубах – лучше сильно не жевать. И запах в ней еле слышен. У нас в малиннике такой дух стоял... В Америке все плоды и цветы почти не пахнут. Но, в общем, малина как малина.

Стал наполнять бидончик. Сбор пошел полным ходом, как на плантации. Выкатываешь большим пальцем спелые ягоды, и они сами падают в бидон. На ветке остаются только оранжевые стерженьки, как свечечки на новогодней елке. Всё выше взбираюсь на косогор.

И вот когда я добрался на самый верх, вдруг из-за кустов встал человек. Видимо, обирал нижние ветки и теперь распрявился. Я так и обмер. Я просто окаменел от неожиданности. Меня бы не так удивило, если бы встретил здесь медведя, американского гризли. Не знаю, любят ли малину здешние медведи? Я не так удивился бы даже нашему бурому мишке. Даже полярному медведю. И не потому, что встретил здесь человека. Случались иной раз. Я был потрясен тем, что встретил **этого** человека.

Я узнал его сразу. Хотя и не видел лет сорок. Но я его вмиг узнал. Как было не узнать! Я вспоминал о нем часто. Этот человек камнем лежал на моей совести. Конечно, он постарел до неузнаваемости. Но только не для меня. Горькавый! Иван Горькавый! Ванька! Больно памятная мне фигура. Я оплошал в свое время, когда надо было дать ему по роже. Я задолжал ему оплеуху. В старые времена дуэлянты оставляли за собой право на ответный выстрел. Вот и я решил: встречу – верну должок. Я этим себя оправдывал за тогдашнее малодушие. И вот – надо же! – такая встреча.

Для верности спрашиваю его, хотя не сомневался, что это он:

– Фамилия Горькавый?

– В общем да, – отвечает удивленно.

Конечно, это был он. Серые глаза, орлиный, казацкий нос с напряженными ноздрями, сутулость какая-то бычья и голос этот – носовой, гудящий.

– Ну, здравствуй, – говорю. – Вот и встретились. Не узнаешь?

Смотрит с вежливой улыбкой, не узнает.

– Извините, что-то не припомню, – говорит и всматривается в меня из-под седых бровей. Они у него на глаза нависают. – Первый раз вижу.

– Врешь! Не первый. Вспомни подмосковную Рузу. Бывал там?

Он помолчал, что-то вспоминая.

– Ну, бывал. Когда в армии служил.

– Сержантскую школу помнишь?

– Да, – удивленно говорит он, и все старается взглянуть в мое лицо. – А кто вы?

– Пейсахович. Борис. Помнишь такого?

Он стал моргать глазами, стараясь вспомнить.

– Что-то не припомню.

Ему, конечно, трудно было меня узнать. Я был для него одним из многих курсантов.

– Ты был в Рузе? В сержантской школе? – спрашиваю снова.

– Ну, было дело.

– В шестьдесят четвертом?

– Д-да.

– А сам из Киева, так?

– Ну, из Киева.

Несомненно, это был он. Пора было перейти к решительным действиям.

– Так что? Не узнаешь?

Он смотрел на меня настороженно, но на всякий случай вежливо улыбаясь.

– А теперь вспомни, падлючий рот, как ты сожалел, что не всех евреев перебили в Бабьем Яру.

Я высказал это, перейдя на крик. Чтобы себя возбудить и приступить к отплате. Улыбка вмиг сошла с его лица.

– Такого быть не может! – воскликнул он.

– Было. Я своими ушами слышал.

– Не могло такого быть!

– А ты напрягись, вспомни, как ты в карантине, рассказывал ребятам, какой Киев – прекрасный город. Ты сказал: одно плохо – жидов много. Жалко, ты сказал, что не всех Гитлер перебил в Бабьем Яру. Вспомни, сучий потрох!

– Врешь! Не было такого! – крикнул Горькавый с негодованием.

Он вполне мог не помнить. Это мне оно запало неоплаченной обидой. Но я был убежден, что он не раз, не два говорил подобное. Не вдруг же он тогда высказался. И всегда его слова встречали одобрительно, по крайней мере, без протеста. Иначе откуда была в нем уверенность, что ему сойдет с рук. Видать, всегда сходило. И в Рузе сошло. Несмотря на мое присутствие. Я, правда, не стоял тогда вместе со всеми. Я заправлял постель на нижней своей койке, в самом углу казармы. Меня никто не видел за двухъярусными койками. Но слышать-то я слышал! Лучше бы не слышал. Не терзал бы себя, что не съездил ему по роже. Потом мы разъехались по воинским частям, и больше Горькавого я не встречал. И – надо же! – сталкиваюсь лицом к лицу. Когда уже свыкся с неоплаченным долгом. И где? В Америке! В малиннике! Представляете? Где, так сказать, жизнь – малина.

– Я своими ушами слышал! – кричу.

– Врешь! Не могло этого быть! Не могло! – орет он в ответ.

Вместо того, чтобы съездить, наконец, ему по роже, я почему-то схватил его за грудки и стал трясти. Какой из меня драчун! Я и в молодости не любил драться. Он обеими руками сверху сбил мои руки. Одну сбил, а другая поехала вместе с его рубахой. Порвал ему рубаху. Но не разжимаю кулак.

– Отпустите рубаху! – потребовал он.

– Не отпущу!

– Отпусти говорю!

– Не отпущу.

Хотя и сам не знаю, на что мне его рубаха.

Тут он схватил меня за руку и резко вывернул ее мне за спину. Ногой еще как-то ковырнул, мы свалились оба наземь. Прямо на рассыпанную малину. Он сверху. Тяжело дышит мне в затылок.

– Отпусти руку, гад ментовский! – хриплю.

– Отпусти рубаху!

– Руку отпусти. Рад, что в ментах служил?

И тут он заявляет мне в спину, Ванька этот Горькавый:

– Не служил я в ментах. В десанниках. В Израиле.

– Че-во-о? Где-где?

– В Израиле.

От сильного удивления я отпустил его рубаху. Он мою руку.

Я сел и уставился на него, потирая локоть. Что-то он там нарушил.

– Ты-ы!? Как же ты, антисемит, жидомор, в Израиль попал?

На лице его мелькнуло множество чувств. Он глядел на меня и ничего не понимал.

– Не могу понять, что вам от меня надо? – пробормотал он.

– Ты же антисемит! – сказал я. – Хотя и в Израиле теперь полно антисемитов.

Таких как ты

– Какой я антисемит, если жена у меня еврейка, – сказал Горькавый.

И тут он заявляет такое, что хоть стой, хоть падай:

– Я и сам еврей.

Что за чушь собачья! Неужели не Горькавый? Неужели ошибся, напал на другого человека? Но про Рузу он не отрицает же...

– Твоя фамилия Горькавый? – наново спрашиваю у него. – Ты служил в Рузе?

– Было дело.

– Как же ты... еврей?

Прозвучало довольно нелепо. Будто Руза это элитный вуз, куда евреев не брали. Куда-куда, а в армию евреев брали охотно. Да взять хотя бы начальника той же школы капитана Брондмана. Был там такой. Довольно вредный мужик, въедливый, все по уставу, чихнуть, пёрнуть не мог не по уставу – и другим не давал.

– Да, еврей, – отвечает Горькавый.

Я ничего не понимал.

– Ты в Рузе был, в сержантской школе? – снова спрашиваю.

– Ну, я же сказал.

– У капитана Брондмана?

– У него, – улыбается он.

– Что ты лыбишься, как майская рожа в помойном ведре? – спрашиваю.

– Я на дочери его женат. Должен помнить ее, если там учился.

Ещё одна новость! Как не помнить? Ева – нетронутая дева. Вся школа вздыхала по ней. Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь.

– А теперь, значит, в евреи подался? – говорю, потирая локоть. Точно он там что-то повредил.

– Да. Прошел гиюр.

Убиться можно! Вот дела!

– И обрезание сделал? – спрашиваю язвительно.

– А как без этого? – говорит. – Принял гиюр по полной форме. Со всеми требованиями. Крайнюю плоть пожертвовал.

– Брешь!

– Тебе показать, что ли? – говорит - и руку к зипперу.

Я молчу, смотрю на него. Ситуация и без того была довольно дурацкой. Прикиньте: два седых, пожилых человека, по сути два старика – только что дрались, волтузились на земле, тяжело дыша, теперь сидят на солнцепеке, потные, измаранные малиной. Не хватало еще срам обнажать.

– А тебе сделали? – говорит он и смотрит на меня острым таким взглядом.

Знал, что спрашивать. Это был внезапный удар. Такой же внезапный, как моё нападение среди бела дня. Но его удар был точней. И, как говорят боксёры, ниже трусов. В буквальном смысле. Его вопрос смутил меня. И тут же возмутил. Антисемит Горькавый устраивает мне, Пейсаховичу, проверку на еврейство? Азохенвэй! Дожились!

Дело в том, что я необрезан. Родители побоялись. Как можно! Коммунисты, интернационалисты! Узнают – еврейский буржуазный национализм пришьют. Горькавый знал такую особенность нашего и послесоветских поколений. Так и пускали нас родители в жизнь без «изъяна», наградив русскими именами. Возможно, в предчувствии Бабьих Яров. Хотя спасению это мало помогло. Пятеро душ нашего семейства полегло в яру.

– Ты пожертвовал краешек плоти, – заорал я. – А почти весь мой род стал жертвой в Бабьем яру: дед Фроим, баба Сурка, тётка с мужем и их малый сынок, мой двоюродный братик – кошерные, не кошерные. Это тебе не краешек плоти, а половина всей плоти нашего рода.

И этот довод был не очень уместный. Мои родичи стали жертвами ненависти. Ничего общего с добровольной жертвой моего сослуживца тут не было. Хотя, если подумать, на всё промысел Божий.

– Краешком плоти у меня тоже не обошлось, – говорит Горькавый с невеселой ухмылкой. – Пришлось пожертвовать еще кусок.

Я посмотрел на него – о чём он? Какую еще плоть нужно жертвовать ради еврейства? Он поддернул штанину на левой вытянутой ноге. Вместо ноги я увидел розовую пластмассу. Он тут же задернул – не стал бить на сочувствие. Честно говоря, мне это понравилось. Другой бы оставил штанину поднятой для пущего эффекта. Я бы и сам оставил.

– Восемьдесят второй год. Ливан. Операция «Мир Галилее». Слышал?

Я промолчал. Вроде слышал когда-то. Но не очень входил в подробности.

– Не пойму только, как ты, Ванька Горькавый, там оказался?

– Меня зовут Йоханаан Гаркави, – произнес он раздельно по слогам – мол, прошу любить и жаловать.

Любить и жаловать, конечно, его никто не собирался. Но удивлял он меня все больше.

– Так как ты туда попал?

– Длинная история, – ответил он со вздохом. – Короче. Еву ты помнишь. Ну, вот. Я через нее и остался на сверхсрочную при учебке. Отвечал за физподготовку – старшина на офицерской должности. Ухаживал за ней напропалую. Взял измором. Осадой. Торчал под окнами в любую погоду, мок под дождём, мёрз в снегу. В свободное от службы время. И в служебное находил повод. В конце концов, добился ее. Мы поженились.

Хотел сказать ему, как же так – ты ж антисемит, а она еврейка? Но удержался. Черт его знает. Бывают же чудеса на свете. Я только хмыкнул на это.

Но он понял.

– Капитан с капитаншей были категорически против. И слышать не хотели. Я их теперь вполне понимаю. Но мне без нее жизнь была не мила. Я голову мог сложить ради ее прекрасных глаз, волшебного ее голоса, ее души... Все для меня свелось на ней. Я очень понимал гоголевского Андрия.

– Ты пошел дальше Андрия, – говорю. – Это все равно, что он женился бы на дочке жида Янкеля. Тебя Тарас Бульба не то, что застрелил – четвертовал бы.

Он кивнул головой на мои слова и улыбнулся.

– О-о! Я сгорал от любви, сох.

Он вдохнул полной грудью и обвел взглядом все вокруг.

– Меня и теперь не отпускает...

Он замолчал, будто захлебнулся от прилива чувств.

– Короче, оказались мы в Израиле. Для нее – репатриация. Для меня – эмиграция. Тесть с тещей остались в России, верные двум уставам: армейскому и партийному.

– Вот все говорят – трудности, эмиграция, адаптация, – продолжал он. – С ней, такой, нигде не могут быть трудности. Я готов голову за нее положить. Её глазами я видел эту страну. Я любовь к Евке переносил на Израиль. Я готов был положить голову за этот край. Для меня Израиль и Ева стали одним и тем же. Родился у нас сын. Я пошел служить в армию. Когда в Ливане оторвало на mine полноги, решил после госпиталя пройти гиюр. Стать евреем.

Мы помолчали.

– А что ты – здесь, в Америке?.. Не по малину же приехал?

– Приехали к старшей её сестре, да вот задержались, не знаю на сколько. Помирает она. Тут живёт, рядом с парком. Дай, думаю, наберу малинки, пока она там у сестры в больнице.

Мне бы теперь поутихнуть насчет прошлого. Но мне все казалось, что сатисфакции я не получил. Забота отыграться всё томила меня. Хотелось, если не мордобоем, то хотя бы словами отыграться.

– Так какого, говоришь, года, жена твоя?

– Сорокового. А что?

– А то! Если б вышло, как ты пожелал тогда в казарме, пропала бы твоя Евка в Бабьем яру.

Если честно, я сказал это отчасти из ревности. Я ведь и сам был тайно влюблен в капитанскую дочку. Видели бы вы, какая она была. Умница, красавица. Талия – ремешком для часов подпояшешь.

– Грех напоминать тому, кто прошел гиюр, о его прошлом, – сказал он со строгим упреком. – Прошное для меня кануло. Я все забыл. Понимаешь, забыл!

И добавил пренебрежительно:

– Хотя, что с тебя взять? Ты же, по сути, гой.

Ну, вообще конец света! Я для него гой! И кто это мне говорит! Пусть даже все правда, что он рассказал, но неужели он больше еврей, чем я? Пусть даже полностью переродился, пусть обрезан, блюдет субботу, кашрут, пусть живет по строгому иудейскому распорядку, пусть даже напрочь забыл своё прошлое, в том числе свой антисемитизм – допустим. Но ведь не он, а я тащу в себе всё многовековое еврейство, в своих генах, в повадках, в устройстве натуры, в складе ума, тащу все черты, все достоинства и недостатки сотен еврейских поколений, запечатлев в себе их радости и страдания, в том числе, боль Бабьего Яра, где на взгляд Ваньки Горькавого, что теперь сидит передо мной в кошерном виде, маловато убили евреев – надо было всех. Скажите мне тогда, что же такое еврей?

Мы оба сидели на земле, выдохшиеся, измазанные соком раздавленной малины, который со стороны мог выглядеть кровью. Я искоса бросил взгляд на него. Он, видать, тоже перебирал в голове всё, что здесь случилось. Сквозь разодранную его рубаху виднелось плечо. На нем истертая почти до не различимости наколка. Но я и ее узнал. Я помнил ее свежей. Такие наколки тогда носили многие: *не забуду мать родную*. Не забуду. А забыть-то положено!

Я не знал, как мне быть. Передо мной сидел человек, от которого я услышал много лет назад злые слова. Я мечтал ему за них отомстить. И тут – он. Но... Но, выходит, это вроде и не он, не Горькавый. Как же не он, говорил я себе, тот же орлиный нос, те же насушенные брови, голос этот гудящий. Наколка эта. Неспроста же он рассказывает так подробно. Будто оправдывается. Даже член хотел показать. Значит, знает за собой и то, что я не могу забыть.

Смотрю, он в задумчивости сорвал травинку заячьего овса и протернул сквозь пальцы, как это делали мы в детстве – курочка или петушок? На травинке остался неободранный хохолок.

– Петушок, – говорю, хотя он не просил меня загадывать.

Он посмотрел на меня, на травинку с «петушком». Он не забыл, он помнил прошлое. Не мог он забыть себя прежнего. Просто запретил себе помнить.

– Не всё забыл, – говорю и кивнул подбородком на травинку.

– Я забыл всё. Руки помнят.

– И ты забудь, – прибавил он. – Не надо напоминать. Забудь, пожалуйста, – сказал он, подняв на меня глаза. В глазах его была мука.

– Не могу забыть! Понимаешь? Не могу! – крикнул я надрывно.

Тут он стал неловко подниматься на ноги. Оно понятно: вставать с протезом труднее, чем падать.

Встал он, выпрямился и говорит:

– Ну, хочешь – ударь. Успокой свою совесть.

Я все сидел на земле и не знал, как мне быть. Сажу и думаю: почему я так себя веду? Зачем так долго помню обиду? Столько воды утекло. Я бы, конечно, давно забыл. Я же не злопамятный. Но всё вокруг складывается так, что нельзя забыть. Только везде и разговору – геноцид, Холокост. Одни болтают, что евреев убили не так много, другие даже - никакого Холокоста не было. Кто теперь только не кудахтает об этом? Жалеют, что не всех нас погубили в бабьих ярах и освенцимах. Взять хотя бы иранского этого чучмека... Ахмета Хиджаба – или как там его? Что значит «не было», твою душу мать!? А куда подевался дед Фроим с семейством, от мала до велика?.. Но разве всем морду

набьёшь? Кулака не хватит. Да и наши евреи... Нет, забывать нельзя. Никто не говорит, что надо все забыть. Но и кричать по всякому поводу «гвалт!», «ратуйте, люди добрые!» тоже не стоит, раздирать язвы на миру. Можно надоесть всем. Подлецов это подбивает нажимать на больную мозоль. А порядочные, молча, отводят глаза. Мне не надо, чтобы нас любили. Тем более, ненавидели. Лучше бы были безразличны!

И потом, если честно, мне ведь хотелось отомстить Горькавому не только за полёгших в яру. И даже не столько. Мне важнее было отыграться за свое малодушие, задетую гордость, свое национальное достоинство, за вину перед самим собой.

– Ударь, – повторил Горькавый. – Я тебя понимаю, Борис.

Он даже сделал приглашающий жест.

И дальше говорит такое:

– Ударь! Я бы и сам его ударил.

Тут рассказчик взволнованно замолк, вновь переживая случившееся.

– У вас сигарета найдется? – спросил он.

Я протянул ему сигарету, встряхнув пачку. Прежде я никогда не видел его курящим. Я поднес к его сигарете зажигалку, на миг осветившую его лицо. Голова у него подрагивала. За время своего рассказа он, по-моему, ни разу не чмокнул, не цыкнул зубом.

– И вы, конечно, не смогли ударить, – высказал я очевидное.

– Как можно после таких слов! – выпучил на меня глаза Пейсахович и сильной струей выпустил дым. – Эти его слова «Я бы сам ЕГО ударил»... ЕГО!!! Они потрясли меня сильнее всего, что я в тот день увидел и узнал.

Я долго молчал, уставившись в землю. У моих глаз ползали муравьи, букашки всякие. У них были свои дела, им наши страсти были побоку. По сути, он был не тот, кому я задолжал свой «ответный выстрел». Передо мной был не он, не Иван Горькавый.

И я, не поднимая головы, пробормотал:

– Ну, извини, раз такое дело.

Потом встал, отряхнулся и повторил погромче:

– Извините, Йоханаан Гаркави. Значит, я обознался.

Пейсахович судорожно, как после рыданий, перевел дыхание и снова жадно затянулся сигаретой. Потом вдруг ударил себя по колену, что-то вспомнив:

– На днях читаю в Интернете: бойцы израильской армии принимают гиюр. И фото – сидит под навесом рота солдат, в основном славянские лица. В президиуме военное начальство и раввины. Я обалдел: неужто так вот чохом принимают в евреи? Как у нас когда-то в комсомол да профсоюз?

Чуть успокоившись, он добавил:

– А вы говорите – еврей должен быть евреем. Еврей – понятие растяжимое.

И издал обычный свой чмок, как знак возвращения к обыденности.

Мы оба молчали, дыша ночной прохладой. Темная гора, у подножия которой там и сям ютились домики для отдыхающих, почти слилась с мраком. Ярко горели звезды. Их было много, они были крупнее и висели ближе, совсем над головой, – не небо, а свод небесный. Всплеснул карп, разбив озерную луну и пустив по воде ее осколки. Тускло отвечивало лесное шоссе, прорезавшее дом отдыха.

«Как упои-и-тельны в Росси-и-и вечера-а-а», – доносилось из курзала.

К
следующем
у рассказу

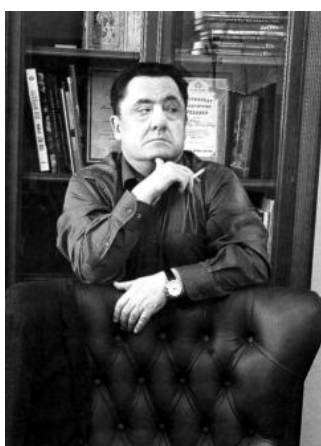
[Вернуться на главную страницу
сайта «Круг интересов»](#)

<http://mishpoha.org/n31/31a01.php>

Валерий ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ

МИША-ПОЛ-ЧЕЛОВЕКА

Об авторе:



Валерия Зеленогорского я знаю с той поры, когда он был еще Валерием Гринбергом, жил в Витебске, работал инженером. Потом была Москва... Жизненная кривая вынесла из инженеров в Театр Владимира Винокура. Была продюсерская работа в шоу-бизнесе. И, наконец-то, литература дождалась своего героя. С середины 90-х годов Валерий, теперь Зеленогорский, пишет прозу. Автор серии, состоящей из 4-х книг «В лесу было накурено», сборников «Ультрафиолет», «Рассказы вагонной подушки», «О любви», «“Анатомия” любви, или Женщины глазами человека», «ULTRАмарин».

Постоянный автор журнала «Медведь», где печатаются его рассказы, и газеты «Московский комсомолец» – в рубрике «Критические дни» публикуются его фельетоны.

В журнале «Мишпоха» №19 опубликован рассказ «Вельветовые штаны».

Аркадий Шульман.

В Мише всегда жило два человека. Пол-человека в нем было русского – от мамы, учительницы языка и литературы, вторая часть – ненавистная ему – была от еврейского папы, которого он никогда не видел, но ненавидел... всю жизнь: за нос свой, за курчавость, за то, что он бросил маму, когда Миша еще не родился.

Мама была божеством. Это был первый человек, которого он увидел в этом мире. Она была для него первой женщиной, и даже после, когда он стал любить своих женщин, он всегда понимал, что они ее жалкая копия, и первые две жены, которых он привел домой еще при жизни мамы, всегда ей проигрывали и, в конце концов, уходили, забрав детей.

Мама была всегда. Когда он еще не мог ходить, он не мог пробыть без нее даже минуты, он сосал ее грудь почти до двух лет, и его отняли от ее сиськи, используя насилие. Ее грудь мазали горчицей, заманивали соской с медом, вареньем и сахаром, но он рвался к ее груди, которая его защищала своим теплом и нежностью, он плавал в ней, потом ползал по ней, плыл на ней, как на ковчеге, в непознанную жизнь и долго не мог пристать к своему берегу, не мог оторваться от маминой сиськи, – так говорили две бабки, мамина мама и ее родная сестра, у которых он смиренно оставался, когда мама ходила на работу, но он ждал, ждал, ждал и никогда не ложился спать, пока она не приходила.

Единственное, чем бабки могли его успокоить, были книги, они по очереди читали книги из большой библиотеки деда-профессора, все подряд – от античных трагедий до устройства мироздания, вторая бабушка читала ему сказки народов мира, а потом «Библию». Он научился читать в четыре года и потом уже сам читал все подряд, как ненормальный.

Он и был ненормальный для всех остальных детей во дворе и их родителей. Ну что можно сказать о мальчике, который во дворе не играет, ходит гулять только с мамой в парк, где они оба садились на лавочку, и оба открывали книги и читали, и грызли яблоки, и пили чай из термоса, а потом уходили домой?..

Миша долго держал маму за руку, и только в третьем классе он вырвал свою руку из маминой, когда влюбился в учительницу английского языка.

Он поступил в школу в мамин класс и был счастлив, что целый день мог видеть маму. Миша не мог ее подводить и учился, и был первым учеником, ему это было нетрудно.

В третьем классе он впервые узнал, что вторая половина его не всем нравится. Мальчик из соседнего класса сказал ему, что он жид. Миша знал, что есть такой народ – евреи, но он даже не мог предвидеть, что он, Миша Попов, имеет какое-то отношение к этому народу.

Он вернулся из школы задумчивым и несчастным, дома были только бабки – и они смущенно пытались объяснить ему, что все люди – братья, но его это не устроило, и когда пришла домой мама, усталая и с горой тетрадок, он не бросился к ней.

Миша всегда помогал ей, снимал с нее обувь и пальто, потом ждал, когда бабки ее покормят, и только уж потом садился с ней вместе проверять тетрадки, и это было их время, когда они говорили обо всем.

На этот раз он, выдохнув, выпалил ей:

– Мама, я что, еврей?

Мама вспыхнула и покрылась красными пятнами, потом вытерла сухие глаза.

Она ждала этого вопроса, но надеялась, что это услышит позже. Она не привыкла врать своему сыну и пошла в спальню. Вернулась через пару минут и закурила. Она никогда не курила при нем, не хотела подавать дурной пример, но сегодня у нее не было сил сохранять лицо.

Она молча показала Мише чужого мужика – толстого, кучерявого, с веселым глазом, он в одной руке держал гитару, а другой властно – маму за плечо.

– Это твой отец, – сказала она глухо. – Он живет в другой стране, у него другая семья.

И замолчала.

Миша с ужасом и отвращением смотрел на этого долбаного барда и сразу не полюбил его. Он просто понял, что одна его половина отравлена ядовитой стрелой, у него первый раз кольнуло в самое сердце, и он упал на пол.

В доме начался крик. Пришел доктор Эйнгорн, друг одной из бабок, он послушал Мишу и сказал, что это нервное и бояться не надо. Мишу уложили в постель, и круглосуточный пост из бабок следил за ним, как за принцем.

Он неделю не ходил в школу, но зато прочитал весь том энциклопедии, где были статьи про евреев.

Многое ему нравилось, но только до тех пор, пока образ далекого папы не закрывал горизонт, и тогда он кричал невидимому папе: «Жид! Жид! Жид!» – и плакал от отчаяния под одеялом.

С того жуткого дня он стал немножко антисемитом. Он издевался над Эллой Кроль, сидевшей с ним за одной партой.

Раньше он с ней дружил – она тоже много читала, неплохо училась, – но теперь она стала врагом его половины, и он стал ее врагом и мучителем.

Он истязал ее своими словами, он был в своей ненависти круче Мамонтова, который каждый день бил ее сумкой по голове и предлагал поиграть в «гестапо».

Элла молчала, не отвечала, пересела к Файзуллину и стала смотреть на Мишу с явным сожалением.

Ее родители, пожилые евреи, видимо, научили ее, как надо терпеть, и она терпела – единственный изгой в школе интернациональной дружбы, куда приезжали зарубежные делегации поучиться мирному сосуществованию.

Миша всегда выступал на этих сборищах со стихами разных народов, и ему хлопали все, кроме Кроль и Мамонтова, который подозревал, что Миша не совсем Попов, но в журнале в графе «национальность» у Попова стояла гордая запись «русский», сокращенная до «рус.».

Мамонтову крыть было нечем, но дедушка Мамонтова в прошлом был полицаем, и он научил его игре, в которую он играл на Украине в годы войны.

Они сидели на окраине городка и с сослуживцами на глаз выцарапывали из толпы беженцев – евреев. Дедушка Мамонтова имел такой нюх, что определял евреев, даже если в них текла восьмушка крови подлого семени, но он еще с десяти метров выщемлял из толпы комиссаров, и тут ему равных не было.

На исходе войны он убил красноармейца и с его документами стал героем. До сих пор ходит по школам и рассказывает о своих подвигах.

Мамонтова Миша боялся. Когда тот пристально смотрел ему в глаза, он всегда отводил взгляд и склонял голову.

Мамонтову он решительно не нравился, но мать Миши была завучем. И Мамонтов терпел, как человек, уважающий любую власть. «Власть от Бога», – говорила ему бабушка и крестилась при этом, и внучок тоже так считал до поры до времени.

Миша собирал металлолом без охоты, но с удовольствием ходил за макулатурой: там, в пачках, связанных бечевкой, он находил старые газеты, никому ненужные книги с ятем и

много другого, чего другим было не надо. Он брал пачки макулатуры, шел в парк и застревал на долгие часы, разбирая пожелтевшее прошлое.

В том драгоценном хламе он многое нашел из времени, которое не застал, и многое понял из старых газет про свою родину; так он узнал про Сашу Черного, Аверченко, Зощенко и Блока, там были имена, которые в школе только упоминали, а он знал наизусть и удивлял учителя литературы, который даже не слышал о них.

Он перестал ходить в шахматный кружок, когда услышал от Мамонтова, что это еврейский вид спорта, и записался на стрельбу из лука.

Это редкий вид спорта, на который ходили в основном некрасивые девочки: когда натягивают тетиву, она должна упираться в середину носа, и у тех, кто занимался давно, нос был слегка деформирован, никакая красивая девочка такого себе не позволит. Робин Гудом он не стал, но, проходя по двору с такой амуницией, он имел авторитет у неформальной молодежи, которая сидела на террасе детского сада во дворе дома и пила вино под песни Аркаши Северного и других певцов уголовной романтики. С неформалами сидели их марухи, которые служили им поврозь и вместе.

Миша был отъявленным индивидуалистом и солистом по натуре. Один раз он ее уже испытал страсть: когда к ним в Тушино приехала кузина из Вологды, студентка пединститута. Она неделю шастала у них по квартире в трусах и без лифчика, считая Мишу китайской вазой. Бабки гоняли ее, но Миша успел рассмотреть ее анатомию почти в деталях, и, когда она уезжала, она прижала его голову к своей немаленькой груди, и у него голова закружилась, он чуть не потерял сознание, задохнувшись в ущелье меж двух ее выпуклостей.

Она уехала, и он еще долго помнил этот головокружительный запах духов и пудры на бархатных щечках.

Он даже написал стихи об этом переживании, подражая Есенину.

Он начал созреть, и тут с ним случилась катастрофа: у него появилась перхоть – мелкая белая пыль на плечах, от которой он никак не мог избавиться. Мамонтов отметил в нем эту перемену и сказал громко на весь класс:

– Попов – пархатый.

Все засмеялись, кроме Эллы, которая вроде даже его пожалела, но не подошла.

Миша вернулся домой и два часа мыл и чесал голову, белый снег сыпался с головы, и он отчаялся.

Пошел к бабкам на кухню искать спасения, бабки переглянулись и дали ему касторовое масло, которое он стал втирать каждое утро перед школой, и еще он стал маминими щипцами расправлять волосы, он хотел прямые волосы, как у Звонарева, с челкой, но кудри завивались, щипцы не помогали.

Мама сначала смеялась над ним, а потом поняла его усилия и сказала ему, что кудри у тех, у кого много мыслей, и его волосы станут прямыми, как только мысли улетят от него к другому парню, а он станет дураком с прямыми локонами, и мужчине не стоит придавать такое значение внешности.

Он долго стоял против зеркала и смотрел на себя, он себе не нравился, его раздражало все: рост, вес, сутулость, перхоть, прыщи. Он хотел быть Жюльеном Сорелем из «Красного и черного», а в зеркале он видел толстого мальчика в очках, не похожего даже на Пьера Безухова, и еще перхоть.

Он накопил два рубля и пошел к косметологу в платную клинику. Женщина с фамилией Либман осмотрела его, потом заглянула в карточку, удивилась и сказала:

– Знаете, Попов, я могу выписать вам кучу мазей и лекарств, но у нас, евреев, это наследственное, у нас слишком много было испытаний, и это плата за судьбу. Относитесь к этому дефекту нашей кожи с другой точки зрения, считайте, что это горностаевая мантия, несите ее достойно, как испанские гранды, которыми мы стали после инквизиции, это знак отличия, а не физический недостаток. Я вас, конечно, понимаю, вы мальчик, вам нравятся девочки. Встречайтесь с нашими девочками, и у вас не будет проблем.

Он вспыхнул и сказал ей грубо:

– Я не еврей.

Хлопнул дверью и выскочил на улицу.

Доктор Либман, качая головой, сказала ему вслед:

– Ты не еврей, мальчик, но что делать, если все евреи похожи на тебя...

Мантия лежала на его плечах и доводила до иступления, он даже хотел побриться наголо, но посмотрел на голый череп физика Марка Львовича, которого обожал, и заметил на его лысине красные пятна и сугробы на плечах.

Он передумал и стал с этим жить. Он умел умирять себя, находил аргументы и терпел свое несовершенство с тихой покорностью.

Окончив школу на год раньше, Миша поступил в университет на филолога и окунулся в чудесный мир слов. Он плыл в этом море, как дельфин, постигал его пучины и бездны, проникал через толщи лет и эпох – Миша был в своей стихии. Он пробовал писать в какие-то журналы, его даже напечатали, и Миша был счастлив. Его бабки купили сто журналов с его текстом и раздали всем знакомым.

И был ужин, где его семья – самые любимые женщины – пили какое-то дрянное вино. Мама ему налила настойки, и он первый раз выпил за первый гонорар. Миша был счастлив, но утром пришла повестка.

В тот год студентов стали брать в армию. Старухи заплакали. Они помнили войну, их мальчики остались там, а они остались в этой жизни одни без любви.

Маму бабка родила без любви, из благодарности к деду-профессору, который спас их от военных невзгод.

Бабки рыдали, мама звонила доктору Эйнгорну, и он обещал подумать. И тогда Миша встал и сказал:

– Я иду, как все, я прятаться не буду, я не еврей какой-нибудь.

И дома стало тихо. И все поняли, что он не отступит. И он пошел.

Он попал в подмосковную дивизию, в образцово-показательную часть, и наступил ад.

Из ста килограммов за месяц он потерял двадцать, за следующий – еще пятнадцать; он два раза хотел повеситься; он падал во время кросса, и все его ненавидели, и он вставал, и его несли на ремнях два сержанта, а потом били ночью хором, всей ротой, но он выжил, он не мог представить себе, что его привезут домой в закрытом гробу и все три женщины сразу умрут, и он решил жить, и сумел. Через два месяца его забрал к себе начальник клуба, и жизнь приобрела очертания. Приехали мама и старухи и не узнали его: он стал бравым хлопцем – стройным, курящим и пьющим, он уже стал мужчиной, с помощью писаря строевой части Светланы, женщины чистой и порядочной, сорокопятки, так она называла свой возраст.

Она взяла его нежно и трепетно, с анестезией: заманила на торт из сгущенки и печенья, а в морсик щедро сыпнула димедрольчика, и он стал мужчиной и ничего не почувствовал. Потом еще пару раз она брала его силой. А потом он сказал ей, что ему хватит, и она перешла к следующей жертве, коих в полку было у нее лет на триста.

Он стал выпивать вполне естественно, курить папиросы и выпускал один полковую газету «На боевом посту». Так прошло два года, и он вернулся ровно 17 августа 1991 года и попал в другую страну.

Страна вступила в эпоху перемен. Он проспал сутки, а потом купил в киоске пачку газет, засел в туалете и вышел с твердым убеждением, что грянет революция, и она случилась ровно через сутки.

Он пошел к Белому дому и попал в первые ряды защитников. Увидел людей, которых раньше не знал. Он чувствовал, что они есть, но вот реально увидел первый раз, их были тысячи, их были тьмы и тьмы, и они собирались стоять до конца.

А потом была ночь с 19-го на 20-е, и пошли танки, и три парня, с которыми он познакомился на баррикадах, легли под танки, и танки сделали из живых мальчиков, ровесников его, бессмысленных жертв и героев.

Их подвиг помнят безутешные родители и совсем немного людей. Те, ради кого они погибли, стараются реже о них вспоминать, люди не любят долгих страданий. А мальчиков нет, и их родители каждый день жалеют, что пустили их во взрослые игры, не закрыли дома.

Были бы тверже – были бы с детьми, а теперь у них есть посмертные ордена и гранитные памятники, где их дети смеются каменными губами...

Сначала рухнула одна бабка, следом за ней – другая. Рухнули, как колонны в аквапарке, и похоронили вместе с собой Храм его семьи.

Они с мамой стали жить вместе с его новой женой и дочкой, и квартира, которая осиротела, сразу наполнилась топотом детских ножек и криком, который звучал музыкой. Мама полюбила девочку со звериной силой, ее нельзя было оторвать от нее, она даже обижала жену, которая тоже желала любить своего ребенка, но бабушка решила, что родители могут только испортить девочку. Она терпела выходные, когда они болтались

дома, зорким соколом смотрела, чтобы они ее не повредили и не отравили, в будние дни царила, вцепившись в девочку, как в спасательный круг своей уходящей жизни.

Когда девочка подбегала на нетвердых ножках, бабушка топила свое лицо в ее кудряшках, пахнущих ее детством, и теряла сознание, и не могла с ней расцепиться. А весной она увезла ее на дачу, где ей никто не мешал пить бальзам ее щечек, волос, ручек и ножек.

...Когда Миша встречал признаки еврейской темы в любом разговоре, он становился неистовым. Болезненно и странно много читал по этой теме, пытаясь понять природу своей ненависти.

Аргументов было полно и в жизни, и в книгах: толпы евреев жили в истории разных народов, их гнали, мучили, но они восставали и на пустом месте становились богатыми, влиятельными и сильными. Их было мало, но они всегда занимали много места в чужих головах, их слова, музыка и книги смущали целые страны и народы, и, в конце концов, им всегда приходилось уходить и все строить заново.

Его учителя-евреи в школе были замечательными людьми, они не торговали, не давали деньги в рост, не крутили и не мутили, они просто учили детей и жили бедно, как все, он искал в них что-то тайное, липкое и нехорошее – и не находил, он даже любил своих учителей, и даже стыдился этого.

В университете у него тоже были профессора-евреи, которых он очень уважал и видел их жизнь, ничем не примечательную. Он знал врачей и инженеров, соседей и знакомых и не находил поводов для ненависти, и тогда он перестал искать врагов вокруг себя и стал искать их в истории, и нашел.

Пытливому глазу стали попадаться книги, где евреи представлялись чудовищами. В России они сделали революцию и разрушили империю, и это его успокаивало. В своих поисках он иногда чувствовал себя ненормальным, но книги, где вскрывалась подлая суть предков его отца, его умирляли, он временно успокаивался, но проходило время, и вулкан ненависти опять плевал черную лаву немотивированной злобы к людям, которых он считал недочеловеками, и ему очень помог Гитлер со своей яростной книгой «Майн кампф», где доводов нашлось достаточно, но убийства, как культурный человек, он не одобрял, хотя целесообразность окончательного решения еврейского вопроса, как ученый, понимал.

Ему было противно, что его православная вера была вынуждена ковыряться во всех этих Моисеях, Исааках, Ноях, Эсфирях, Суламифях, Давидах и Голиафах – зачем это нужно русскому человеку, зачем ему эти мифы и легенды чужого народа...

Он даже спросил своего священника: «Разве мало нам Нового завета?» – и тот ответил, что такой вопрос верующий человек задавать не должен, вере не нужны доказательства.

Ответ его не убедил, он не мог все это принимать на веру, видимо, еврейская часть его вынуждала все подвергать сомнению, и тогда он решил – исключительно с научной целью – пойти в синагогу и поговорить с талмудистами.

Такое решение он принял спонтанно, когда шел в аптеку на Маросейку за гомеопатическими каплями для ребенка: бабушка помешалась на гомеопатии и внучке давала только микроскопические горошины от всего. Девочка была здорова. Но кто лучше бабушки знает, что давать свету очей...

Он беспрекословно поперся в аптеку от Китай-города по Архипова и оказался у дверей синагоги.

Миша решил, что это судьба, и толкнул тяжелую дверь.

За дверью оказалось вполне мило, в зале никого не было, служба закончилась, лишь за столом, как ученики, сидели люди и изучали недельную главу Торы. Он сел тихонько за стол и стал слушать молодого раввина. То, что тот говорил, Мише было чрезвычайно интересно, и он увлекся. Он знал историю Иисуса Навина и эту сказку, как он остановил закат солнца во время битвы, верить в это он не желал, но как художественный образ его это удивляло своей поэтичностью и страстью.

После урока Миша подошел к молодому раввину и стал спрашивать, но тот его перебил и спросил, не еврей ли он. Миша ответил, что нет. Раввин ничего не сказал, но привел в пример притчу. О том, как евреи в Испании во времена инквизиции вынуждены были под пытками принимать чужую веру и предавать завет отцов, но ночью, когда город спал, они собирались в подвалах и молились своему Богу, те, кто переходил в чужую веру, не осуждались и могли в любое время вернуться к своим без кары и раскаяния.

Он понял, что рассказал это раввин для него, ничего не возразил и вышел на улицу. На него по всей дороге в аптеку пялились люди, а он не понимал почему.

На улице было жарко, и он расстегнул рубашку, на груди его сиял нательный крест, на голове была кипа, которую он надел при входе в синагогу.

Он встал, как соляной столп, как сказано в Библии, ни гром, ни молния не поразили его, он сорвал кипу с головы, поцеловал крест, и у него второй раз в жизни заболело сердце.

Миша стал популярным телеведущим. Его стали приглашать на разные сборища с иностранцами, где он отстаивал с пеной у рта Святую Русь. Его пылу удивлялись даже святые отцы из Патриархии, и Миша услышал однажды, как один толстопузый митрополит сказал шепотом другому: «А наш-то жидок горяч», – и ему стало дико противно, и он перестал ходить в храм, обидевшись на чиновников от Господа Бога.

Он встречался с западными интеллектуалами, вел с ними жаркие дискуссии о мультикультурности и мировом заговоре масонов и евреев, боролся с тоталитарными сектами и мракобесием и написал книгу «Мы русские, с нами Бог».

Ее все обсуждали, особенно то место, где он объяснил, что еврей может быть в десять раз круче русского в десятом колене, если его принципы тверды, как скала.

На встрече с читателями его поддел карлик из еврейского племени вопросом: «А не тяжело ли предавать отца, давшего жизнь?» Он не выдержал, сорвался на крик, карлик смеялся и обещал, что его первым сожгут на костре инквизиции хоругвеносцы, которые уже составили списки скрытых евреев.

Однажды он обедал с американским профессором-славистом, и он тоже задал ему нетрадиционный вопрос о евреях России. Профессор не хотел его оскорбить, он ничего не имел в виду, но Миша завелся и спросил его в ответ про Америку и ее евреев.

Профессор, рыжий ирландец, привел ему одну байку, которая описывает место евреев в Америке: с ними обедают, но не ужинают. Миша все понял, и свой ответ застрял у него во рту.

Самое сильное испытание его веры случилось в театре «Ленком», куда его привела жена на спектакль «Поминальная молитва».

Там, на сцене, между синагогой и храмом, рвал сердце маленький русский человек Евгений Леонов, который играл старого еврея в своей вечной трагедии, которую евреи любят тыкать всем в морду. Но самое главное было в том, что на сцене рвалась душа главного режиссера, который не знал, как выбрать между мамой и папой. Она была с русского поля, а папа – с другого берега, а он не мог выбрать, с кем он, кто он и в каком храме его место.

Увиденное его потрясло. Миша видел того режиссера по телевизору, и его внешний вид не вызывал сомнения у зрителей, какого поля он ягода.

В душе все обнажено, и все свое смятение режиссер вложил в этот спектакль, он искал ответа на свой главный вопрос и не находил его. И тут у Миши третий раз закололо сердце, да так сильно, что он даже чуть не задохнулся от этой боли.

А осенью свет померк: умерла мама, тихо, вечером. Она уложила спать свою чудовечку и села смотреть телевизор, а потом вздохнула, сползла с кресла и больше не дышала. И тогда Миша замолчал.

Миша не помнил, как ее хоронили, дом был полон каких-то людей, но его с ними не было.

Целый год он почти не выходил из дома, не брился и не смеялся, почти не работал, делал лишь самое необходимое, чтобы заработать на еду.

Только когда маленькая девочка заходила к нему в комнату на цыпочках и клала свои ручки на его голову, на несколько минут пожар в его голове утихал. Так продолжалось целый год. Ровно год он носил траур: «Так принято у евреев», – сказал ему коллега одобрительно, и он сразу очнулся.

Миша не ездил на кладбище – что он мог сказать камню, который стоял вместо нее среди чужих могил? – в нем оборвалась какая-то нить, удерживающая его в равновесии.

Миша чувствовал себя сиротой, он физически чувствовал себя одним на свете, и только девочка с ручками, снимающими его боль, удерживала его. Он начал работать, чтобы не сойти с ума, и сделал хорошую телепередачу, имевшую бешеный успех, и получил ТЭФИ, ему стали платить приличные деньги, он отремонтировал дачу и стал там жить почти постоянно, часто один жил там неделями.

Скоро после триумфа он впервые поехал в Израиль как член жюри какого-то конкурса. Смотрел там на все с опаской. Неприятности начались еще в аэропорту, когда службы контроля задавали ему тупые вопросы и совершенно не реагировали на его возмущения и протесты. Миша кипел и лопался от злости, а они все спрашивали о целях его приезда и в каких он отношениях с переводчицей, сопровождавшей его. Он не понимал, что им надо, что они ищут в его компьютере и почему десять раз в разных вариантах спрашивают его, есть ли у него родственники в Израиле.

Когда в одиннадцатый раз девушка-офицер опять спросила его про родственников, он ответил с жаром и яростью, что, слава Богу, нет, и дал повод своим ответом еще на серию вопросов, не антисемит ли он и есть ли у него друзья-арабы.

И тогда он вскипел, как тульский самовар, и понес их по кочкам. Миша припомнил им все, но, на счастье, девушка, знавшая русский, отошла к другому туристу, а марокканцу его переводчица переводила совсем не то, что он говорил, и странно, что через пять минут его пропустили.

Миша был в святых местах; он бродил по Иерусалиму, но ему не было места ни у Храма Гроба Господня, ни в мечети Омара, ни у Стены плача, он не чувствовал себя в этом месте своим.

Ему все казалось, что он в Диснейленде мировых религий, где все желают только сфотографироваться на фоне святынь.

Он видел только пыльный город, и у него разрывалась голова, как у Понтия Пилата из хорошей книжки Булгакова, которую он считал переоцененной.

Миша чувствовал себя неуютно с чужими людьми, совсем не похожими на людей в Москве, которых он понимал с первого взгляда. Они могли ничего не говорить, он и без слов знал, что они сделают и что скажут в любой момент. Его не трогал берег моря, само море, и только шум базара у окон гостиницы по утрам занимал его, когда жара еще не растапливала его мозг слепящим солнцем. В такие часы он выходил на улицу и шел на рынок Кармель, где торговцы раскладывали товар, они были разноязыкими, разной веры и разноцветными, но, видимо, ладили и даже дружили, как члены одной корпорации.

Коты разных мастей бродили в рыбных и мясных рядах, и никто их не гнал, и они получали свою долю при разделке свежих продуктов.

Через рынок шли пьяные проститутки с соседней улицы, они закончили трудовую вахту и шли к морю смыть чужой пот и сперму, всю грязь, приставшую к ним за ночь.

Они покупали себе на завтрак овощи и горячие булочки, сыр и что-то похожее на кефир, они брели на еще пустынный пляж и мылись там гольшом, и рабочие из стран паранджи и бурнусов смотрели на голых теток, пьяных и веселых, они смотрели, как они моются и как они едят свой горький хлеб.

В аэропорту, когда он уже улетал в Москву, к нему подошли два человека – мужчина сорока лет, напоминавший ему кого-то очень знакомого, и милая девушка в форме офицера полиции. Они поздоровались, и мужчина спросил на очень плохом русском, Миша ли он, и добавил при этом длинную еврейскую фамилию, вившуюся у него во рту всеми своими двенадцатью буквами. Фамилия Мише не понравилась длиной и количеством букв, а особенно буквосочетанием с окончанием на два Т.

– Нет, – ответил Миша почти вежливо и отвернулся...

Пара переглянулась, и в разговор вступила девушка-офицер, похожая на тех, кто отравлял ему жизнь в аэропорту на прилете. Она показала ему фотографию мужика, которого он знал, он знал его всю жизнь, он выучил все его детали, он часто тайком от мамы доставал фото из железной коробки, где лежали документы, и изучал его, пытаясь понять, как этот человек оказался его отцом, как такое несчастье могло случиться... Он разглядывал фото

часами, он мечтал встретить его и сказать ему все слова из своего немаленького словаря о том, что он тварь и законченный подонок. О том, что какое он имел право приблизиться к маме, как он сумел совратить ее своей гитарой, своей подлой улыбкой и словами, которые должны были взорвать его и вырвать ему язык... Он знал, что должен был сказать ему, эту речь он учил все свои сорок пять лет, и он знал, что по ненависти и страсти ей место в Нюрнбергском процессе, когда-то Эренбург, писавший на процессе, написал статью «Я обвиняю».

Девушка увидела, что с ним происходит, дала ему передохнуть, а потом мягко и застенчиво стала говорить такое, что у Миши в четвертый раз кольнуло в сердце, и он почти задохнулся:

– Мы ваши родственники, ваш папа – наш отец, и он умирает, мы просим вас поехать к нему попрощаться, это его последнее желание.

Она замолчала. Миша хотел крикнуть им, что ему не нужны новые родственники и объявившийся папа, что он всегда желал ему сдохнуть в страшных судорогах, ему хватает своей семьи и чужого не надо.

Он уже открыл рот, но не сумел, откуда-то ему пришел сигнал, с какого места, он не понял, но рот его замкнуло большим замком, и он безмолвно пошел за ними к машине.

Пока они ехали в клинику, Лия (так звали девушку) рассказала, что их отец лежит с инсультом и говорить не может; она еще рассказала Мише, что отец часто говорил своим детям о нем, он первые годы часто писал его маме, но она не отвечала, он отмечал его день рождения много лет, говорил детям, что у них в Москве живет брат и он умный и талантливый.

Миша слушал эти слова, и они ему казались бредом, он не понимал, кто эти люди, которые называют себя его родными, он не понимал, зачем он идет к незнакомому, чужому старику, умирающему в чужой стране, человек не может умирать два раза, он своего отца давно похоронил, и ему нечего делать в царстве мертвых, у него там уже все, кого он любил, но он ехал со страшным, губительным интересом, он в какой-то момент захотел увидеть раздавленного болезнью старика, посмотреть на причину своих страданий, потешить свою месть, увидеть возмездие человеку, кровь которого, отравленная его ядом, не давала ему жить все эти годы.

Они приехали и пошли огромной лестницей на четвертый этаж, где была реанимация, перед входом в палату он вздохнул, но вошел решительно.

На высокой кровати лежал старик, большой, крупный человек с серебряной бородой, лицо его было спокойным, глаза были прикрыты. Лия подошла к кровати и, встав на колени, поцеловала старика руку, он открыл глаза, и Миша понял, что он его видит и понимает, кто он.

От его взгляда в нем что-то вспыхнуло, забурлило, щемящая жалость пронзила его, и он заплакал, страшно, содрогаясь плечами, не стесняясь, забыл как воют евреи на молитве в особые минуты, он встал на колени рядом с Лией и поцеловал руку своему папе, которого он так ждал многие годы, которого он ненавидел и любил. Слезы лились водопадом, все слезы, которые он держал в себе годы, выливались из него, дамба, которую он возвел титаническими усилиями, рухнула, и слезы затопили всю его душу, он плакал: за маму, за себя, за этого старика, который лежит неподвижно, он плакал за всех.

В палате тоже рыдали все – его сводные брат и сестра, Дан и Лия, плакал Моше, так, оказалось, звали его отца.

А потом стало тихо, на экране прерывистая линия стала прямой, прибежали врачи и сказали, что Моше отмучился. Вскоре его увезли, и дети поехали домой, готовиться к обряду.

Когда они вышли, силы оставили Мишу, и он упал на крыльце. Начался переполох, завывла сирена, и его увезли в клинику с инсультом. Он был в коме все семь траурных дней. И очнулся, и понял, что правая сторона его тела умерла, он всегда считал ее маминной, он всегда маленький спал с ней с правой стороны, и эта сторона отказала первой, мама умерла первой, и первой разорвалась с ней нить, удерживающая его на этом свете.

После двух месяцев безнадежной борьбы врачей за мертвую часть тела его выписали, и он оказался в доме своего отца, в его комнате с окном-дверью на крышу, где он сидел вечером и ночью.

Он почувствовал, что, когда мамина русская часть в нем умерла, ему стало спокойнее, в нем установился баланс.

Когда он полз в туалет, держась за коляску, он нес на здоровой руке и ноге мертвую часть своей русской души, он не чувствовал ее веса, папина воля придавала ему силы.

Когда он был на двух ногах, в нем не было баланса и равновесия, а теперь, когда мама и папа на небесах, у него тлела в душе тайная надежда, что они там уже встретились и все друг другу сказали, поплакали и помирились. Он чувствовал, что они помирились: стало вдвое легче носить свое полумертвое тело, душа держала его равновесие, и при всем ужасе произошедшего, он был счастлив тому, что нашел отца.

Его часто возят на кладбище, где стоит простой камень, на котором на иврите выбито имя человека, которого он знал так мало, но любил всегда.

[Вернуться на главную страницу
сайта «Круг интересов»](#)

К
следующем
у рассказу

http://a.kras.cc/2014/05/blog-post_4935.html

Аркадий Красильщиков

Красильщиков Аркадий - сын Льва. Родился в Ленинграде. 18 декабря 1945 г. За годы трудовой деятельности перевел на стружку центнеры железа, километры киноплёнки, тонну бумаги, иссушил море чернил, убил четыре компьютера и продолжает заниматься этой разрушительной деятельностью. Плюсы: построил три дома (один в Израиле), родил двоих детей, посадил целую рощу, собрал 597 кг. грибов и увидел четырех внушек.

суббота, 31 мая 2014 г.

ГОЛОДНЫЕ ГЛАЗА ДЕТЕЙ



Мы не знаем, что заставило этого человека сучить дратву.

За годы работы в газете каких только писем не получал, но только редкие послания становились материалом для статей или заметок. В этом письме Марии Пулицер, как мне показалось, было гораздо больше жизни и правды, чем в двух томах последней книги покойного Солженицына. Столько лет прошло! Может и автора письма уже нет на свете, а проблемы, поставленные в нем, все еще остаются проблемами.

Уважаемый господин Солженицын!

Пишет Вам пожилая еврейка, живущая в Израиле с 1991 года, а раньше вся наша семья жила в городе Москве. Пишу это письмо и Вам, и в газету, потому что не совсем уверена, что вы мои каракули станете читать.

Расскажу Вам свою историю не затем, чтобы высказать обиду на Россию и русский народ. За свою долгую жизнь я видела разную Россию и разный русский народ. Точно также, как за последние 10 лет я увидела разный Израиль и разных евреев.

Мы с мужем моим покойным были когда-то микробиологами. В 1948 году, через год после окончания Университета, защитили кандидатскую диссертацию. К пятидесятому году закончили свои исследования для докторской. Мне тогда исполнилось 26 лет, а мужу моему, Илья Абрамовичу Пулицеру, - 34. Он успел повоевать, был ранен и жил с ампутированной рукой.

17 января 1950 года нас вызвал к себе новый директор института, и сказал, что его исследовательское учреждение больше не нуждается в услугах вейсманистов-морганистов, особенно еврейской национальности.

Мой муж сказал этому человеку, что он настоящий фашист.

Директор поднялся и ответил с улыбкой, что фашист пристрелил бы его, жида, сразу, а он просто указывает нам на дверь.

Так мы оказались без работы. Все попытки устроиться куда-то по специальности ни к чему не привели. А было у нас, к тому времени, уже трое детей: старшие девочки и мальчик. (Он теперь известный музыкант. Живет в Канаде).

А тогда мы ютились в одной комнате огромной коммунальной квартиры на Лучниковом переулке. Комната, правда, была большая, почти 30 метров. Так что мы ее перегородили шкафами и устроили угол для детей.

Деньги наши скоро кончились. Помню, целый месяц питались одной гнилой картошкой и хлебом. Родных у нас в Москве не было. И, если бы не помощь наших русских соседей, мы бы, наверно, и не выжили. Соседи сами были очень бедными людьми, но иногда делились куском с нашими детьми, а мешок гнилой картошки привез нам из деревни сосед-пьяница. Добрейший был человек. Звали его Прокопием. Мы ему, по сути, и обязаны своей жизнью.

Всего в нашей квартире жило 13 семей. Вы наверняка такие коммуны помните. Жил у нас и один азербайджанец – Рустам. Вот этот Рустам пришел как-то к нам и сказал, что так жить нельзя, так мы все погибнем вместе с детьми, а нужно заняться делом. Он сказал, что научит нас сапожному мастерству, и мы будем шить босоножки.

Вы наверняка помните, что в то время было очень плохо с товарами легкой промышленности, а частное производство коммунисты запрещали законом. Тех, кто этот закон нарушал, ждал арест и тяжелый приговор суда.

Значит, этот Рустам предложил нам стать людьми вне закона, и выбирать между голодной смертью и риском попасть в тюрьму.

Думаю, если бы мы с мужем были одни, мы бы предпочли смерть, но дети смотрели на нас голодными глазами – и мы дали согласие.

Рустам снабдил нас кожей и инструментами. Сами понимаете, кожа эта была ворованной. Не мы ее воровали, но прекрасно знали, с каким материалом работаем.

Он же, Рустам, и реализовывал нашу продукцию через комиссионные магазины. По сути дела, он был хозяином дела, и мы работали на хозяина в сапожной мастерской на дому.

Мы себе оборудовали мастерскую в углу комнаты, загородили ее большой ширмой. Там и сидели на низких табуретах, за низким столом, и шили эти проклятые босоножки.

Вот я сказала «проклятые», хотя мы с мужем занимались производством, очень нужной людям продукции. Но должна Вам сказать, что мы оба считали себя, и не без оснований, настоящими учеными и стали сапожниками только поневоле.

Вспомнила об этом, когда читала страницы Вашей последней книги о шинкарстве евреев. Смею заверить Вас, что евреи занимались этим делом с ненавистью, вынужденно, при запрете на другие профессии, а как только появилась возможность шинки и кабаки оставить, они сразу это и доказали.

Ладно, вот мы сучим дратву, прокалываем кожу шилом. (Мой муж, хоть и с одной рукой был, но как-то приспособился и к этому делу. Он вообще, светлая ему память, был талантливым человеком, никогда никакой работы не гнушался, и любое дело в его руках спорилось).

Сидим, значит, мы, работаем и, если честно, дрожим от страха, от любого стука входной двери вздрагиваем, потому что стоило кому-нибудь из соседей на нас донести – и все: нас бы арестовали, а детей (старшей девочке исполнилось с тому времени всего 6 лет) отправили бы в детский дом.

Сейчас иногда пишут, что в те времена все друг на друга стучали, бегали наперегонки в КГБ с доносами, а я вам хочу сказать, что за два года нашей нелегальной работы сапожниками-надомниками ни один человек из нашей квартиры на нас не донес, а все прекрасно знали, чем мы занимаемся. И было это в самые лютые годы государственного антисемитизма.

Проблема оказалась в другом: в моем муже. Он наше сапожное занятие ненавидел, и не потому, что эта работа казалась ему черной или низкой, а потому, что отвлекала от подлинного дела его жизни. Он тогда начал писать свою книгу, на основании которой через семь лет защитил докторскую диссертацию. Он работал над этой книгой чуть ли не 18 часов в сутки. Даже во время пошива тех босоножек отвлекался, бежал к своему столу

и начинал писать своими исколотыми иглой до крови пальцами. У меня до сих пор сохранились черновики той его работы, а на них пятна крови...

Со временем, мы стали жить гораздо лучше. До богатства было еще далеко, но мы уже смогли покупать детям зимнюю одежду и кормить их три раза в день.

Я была очень здоровой в молодости. Да и руки у меня было две. Вот и думала все время, как мне найти такую работу, чтобы мужа освободить от сапожной доли.

Помог случай. Попала я однажды в богато обставленную квартиру на улице Кирова. Жила там семья знакомых моей подруги. Должна вам сказать, что у меня всегда, чуть ли не с 12 лет, был один физический недостаток – слишком большая грудь.

Вы, конечно, этого не можете помнить, но одна из самых больших проблем в СССР у женщин в те годы – было приобретение нужного, красивого и удобного лифчика.

Простите, что заговорила о белье, да еще женском, но эти лифчики имеют прямое отношение к теме моего письма.

К этой, богатой женщине я попала, как раз потому, что она шила и шила замечательно бюстгальтеры на заказ.

Вот примеряю я у нее готовый лифчик, смотрю на пальцы этой женщины, а они все были в кольцах, и вдруг подумала, что и я бы могла этому делу швейному научиться.

Подумала – и сразу обратилась к той женщине с просьбой меня научить этому искусству. Она поначалу не хотела плодить конкурентов, но потом я ей предложила деньги за учебу, ну, она и согласилась, правда нехотя.

Недели две брала я уроки, а я прежде знала, как пуговицу пришить – и только, но через две недели купила я в комиссионке старую, ржавую, ножную машину «Зингер» и стала ее осваивать.

Первое время ничего не получалось – одно мучение. Верите, никак не могла научиться ногами действовать так, как надо. То и дело шить начинала не вперед, а назад.

Впрочем, я тогда, в дни учебы, и не подозревала, что станет самым неприятным в моей новой профессии.

Мы, Илюша и я, шили босоножки, но никогда не встречались с их будущими владельцами, а здесь приходилось заниматься примеркой, невольно знакомиться с теми, кому были предназначены мои лифчики.

Вот здесь я никак не могла преодолеть брезгливость. Чужой пот, чужой запах, чужая неопрятность – все это действовало на меня убийственно. Однажды чуть не бросила это новое дело, но вспомнила о муже, который был счастлив, что теперь мог целый день заниматься своей книгой, и одумалась вовремя.

Целый год шила я эти лифчики. Мы раздали все долги и начали покупать одежду не только для детей. Знаете, в один прекрасный вечер мы с мужем даже отправились в ресторан «Пекин». Это было незабываемо. Илюша напился и мы вернулись домой на такси. Он в машине все время приставал к шоферу и спрашивал, что самое прекрасное в женщине? А потом как заорет: «Грудь в лифчике, сотворенном моей женой».

Знаете, почему я об этом вспомнила? Илюша за день до смерти, уже здесь, в Израиле, в больнице, попросил меня к нему нагнуться и шепчет: «Знаешь, Мара, что самое прекрасное в женщине?» Я в первый момент не поняла, о чем это он? А Илья и говорит: «Самое прекрасное – это грудь в твоём лифчике»...

Все, сейчас поплачу, а потом продолжу.

Продолжаю. Вынужденный контакт с заказчиками кончился плохо. Одна из них, я даже знаю кто, сообщила обо мне в милицию. Не будем теперь говорить об этой женщине. Ее теперь нет в живых... У нас был обыск, перепуганные дети и бедный, растерянный Илья, который показывал тем мужчинам свои ордена и кричал, что детей как-то надо кормить...

Был суд. Мне дали немного, «детский срок»: всего пять лет общих лагерей. Я вам о тюрьме и лагере писать не буду. Здесь вы все лучше меня знаете. Тем более, что пробыла я на зоне всего девять месяцев. Тут умер Сталин, а летом объявили амнистию. По

амнистии этой не только бандитов и убийц освободили, но и таких, как я: матерей с небольшим сроком.

В августе мы снова все вместе оказались. Это было такое счастье, не передать. Тут с евреев сняли обвинение, что они убийцы в белых халатах, а в январе 1954 года мне удалось устроиться лаборанткой, с окладом 700 рублей, в тот институт, где мы работали прежде. В нашем институте был уже директор другой, вполне порядочный человек. Прошло еще несколько месяцев, и мужа моего вернули на прежнюю работу с приличным окладом старшего научного сотрудника.

На этом все наши мытарства и кончились. Нам уже больше не пришлось быть сапожниками и портными. Мы стали заниматься своим делом, и, смею думать, сделали немало для науки.

Почему я пишу Вам это письмо? Мне кажется, что во втором томе вашего труда о евреях в России Вы снова сделаете попытку определить некоторые явления с точки зрения национального характера потомков Авраама.

Мне не кажется такой подход справедливым. В бедах человеческих, чаще всего, виновата глупая и жестокая власть. Никогда бы евреи не торговали водкой, если бы жизнь не заставила их делать это. Никогда бы мы с мужем не стали нарушать законы страны, пусть и дурацкие, если бы не голодные глаза наших детишек.

Не стали бы мы осваивать благородные профессии сапожника и портнихи, если бы не было в СССР государственного антисемитизма.

Есть, как мне кажется, ряд «профессий», за которые отвечает сам человек. Это «профессии» палача, доносчика, предателя... Все же остальное, подчас, не в воле человека, человека любой национальности. Я же, за свою долгую жизнь, ни разу не встречала такой подбор негодяев, который дал бы мне право заподозрить какую-либо нацию в особой склонности к злу.

Думаю, и Ваш личный опыт не идет вразрез с моим. Должна сказать, что женщина, сочинившая на меня донос, была русской, но русскими были и жильцы нашей коммуналки. Им-то никогда не приходило в голову осиротить моих детей, даже в те годы, когда травля евреев проповедовалась властями повсеместно.

Всего Вам доброго! Мария Захаровна Пулицер, г. Хайфа.

Письмо это, по настоятельной просьбе автора, отредактировал Аркадий Красильщиков.

[Вернуться на главную страницу
сайта «Круг интересов»](#)

К
следующем
у рассказу

Владимир МАТЛИН (Вирджиния)

Смерть полковника Садикова

Привычки необходимы человеку. Сродни обычаям и ритуалам, они создают ощущение устойчивости жизни, ее полноты. Прокопий Васильевич ощущал это. Он упорно держался за свои привычки, не желая отказаться даже от тех, которые потеряли всякий смысл. Например, он по-прежнему, как в годы службы, вставал в пять-тридцать утра, и никакие уговоры жены не могли его урезонить. «Так положено», — отвечал он сурово на просьбы не тревожить ее в столь ранний час. А когда она заикнулась, что в таком случае может быть ей лучше спать в другой комнате, он не на шутку рассердился. Супруги, объяснил он раздраженно, должны спать вместе, так положено.

После смерти Елены Игнатьевны он остался один в их двухкомнатной квартире без телефона в Чертаново. Теперь больше никто не покушался на его привычки: он мог вставать, когда хотел, курить, где угодно, хоть в постели, открывать форточку в любой мороз, пить водку за едой... в общем, что угодно. Однако странное дело: без сопротивления и порицания со стороны жены привычки эти вроде бы потеряли часть своей прелести; они уже не выглядели как декларация мужской независимости, они пожухли и поблекли — как и вообще вся жизнь Прокопия Васильевича...

Ох, не хотел подполковник Прокопий Садиков уходить на пенсию. Было это после афганской войны, в годы горбачевской перестройки, когда вся эта банда американских наймитов принялась разрушать армию и органы безопасности. Не хотелось Садикову увольняться, но кто его спрашивал? Предложили уйти — и все разговоры. Возраст, сказали. Перед отставкой присвоили звание полковника, спасибо на этом. И когда теперь случалось Прокопию Васильевичу присутствовать на митингах в поддержку кандидатов коммунистической партии или на каких-нибудь других ответственных мероприятиях, одевал он парадную форму полковника Советской Армии, которую, увы, не пришлось поносить в годы военной службы.

Как ни держался Садиков за свои привычки, а возраст брал свое: сдавало здоровье, память отказывала, и простые бытовые заботы — сходить в аптеку, отнести белье в прачечную, съездить на рентген в поликлинику, привести в порядок женину могилу — все это превращалось в проблему неподвижной трудности.

Два события, две личные драмы повлияли на здоровье и душевное состояние Прокопия Васильевича: смерть жены, с которой прожил более полувека, и другое, мало кому известное событие, которое Прокопий тщательно скрывал от всех знакомых. Это событие он сам в своей душе называл «потеря единственного сына», хотя Владимир Садиков не погиб в Афганистане, как думали некоторые, и вообще, очень, может быть, жил припеваючи по сей день. Жил где-то...

А произошло вот что. В восемьдесят четвертом году (афганская война хоть не называлась войной, шла полным ходом) Володя окончил Баумановский институт и начал работать в проектном бюро. Молодой парень, недурен собою, инженер с хорошими перспективами — понятно, что недостатка в знакомых обоего пола не было. Иногда знакомые заходили к нему домой. Сам Прокопий Васильевич чаще всего отсутствовал, а Елена Игнатьевна с понятным интересом присматривалась к Володиным знакомым, особенно женского пола. И вот среди этого рода знакомых с повышенной частотой стала появляться одна хорошенькая коротко стриженная блондинка на стройных ножках, которую звали тоже Лена — такое совпадение! (К счастью, Елена Игнатьевна слыхом не слыхивала об эдиповом комплексе; впрочем, сходство между Еленой Игнатьевной и Леночкой совпадением имен и исчерпывалось). С этой Леной Володя уходил из дома, гулял где-то допоздна. Несколько раз Елена Игнатьевна наталкивалась на них на улице: идут в обнимку, как теперь принято у молодых — под ручку больше не ходят, другие времена. А когда начался дачный сезон, и в жилищной проблеме появилась летняя отдушина, Володя и вовсе перестал ночевать дома...

Своими наблюдениями Елена Игнатьевна, понятно, поделилась с мужем, который отнесся к Володиной истории почти что одобрительно:

— Нормально, так и должно быть. Ему ведь уже двадцать пять. Только зря-то пусть не таскается, а если девушка хорошая, из хорошей семьи, то об женитьбе надо думать.

Как в воду смотрел подполковник: не прошло и месяца, Володя заговорил о женитьбе. Всё путем: познакомил родителей с Леной. Она произвела хорошее впечатление: такая вежливая, рассудительная, образованная — Институт иностранных языков окончила. Видно, что воспитанная девушка, из хорошей семьи. «Мои, говорит, родители, очень любят Володю и хотели бы с вами познакомиться». «Что ж, — отвечает Прокопий Васильевич, — с удовольствием познакомимся, и не будем тут чиниться, кто к кому первый должен придти. Хотя интересно спросить, кто они, ваши родители, чем занимаются». Ну, Лена с готовностью объясняет, что оба они ученые, кандидаты наук: папа — в области прикладной математики, а мама — в области германской филологии. И зовут папу Марк Ефимович, а маму — Розалия Соломоновна.

Бедного Прокопия чуть удар не хватил. Еле дождался Леночкиного ухода, да как заорет на сына:

— Ты соображаешь, болван, что делаешь? Жизнь себе хочешь испортить? Только таких родственничков не хватало... У меня анкета, как стеклышко: никто не репрессирован, никого за границей, сам русский, и ни в чем не участвовал... А ты мне Соломоновичей подсовываешь! Вот они возьмут и в Израиль уедут. Что ты тогда в анкете писать будешь?

И пошло-поехало... Надо сказать, что Прокопий не очень хорошо знал своего сына, не был с ним по-настоящему близок: всегда занят по службе, часто в отъезде. Упорное сопротивление сына было для него раздражающей неожиданностью. А Владимир стоял несгибаемо: женюсь на Лене, что бы отец ни вытворял. Не признаете этот брак — уйду из семьи.

И ушел. Мало того, через год подал документы на выезд в Израиль, на постоянное жительство, на родину предков своей жены. Сын Прокопия Садикова, кадрового

офицера Советской Армии, внук Василия Садикова, рязанского мужика... Позор перед людьми!

Вот так это произошло, вот так Прокопий Васильевич потерял единственного сына. Он сопротивлялся до конца, не давал согласия на отъезд, но когда началось это горбачевское безобразие, и все устои нормальной жизни перевернулись с ног на голову, младший Садиков умудрился получить разрешение на эмиграцию без согласия родителей.

Знать не хотел Прокопий о своем сыне, предавшем Родину и социалистический строй. Однажды пришло письмо из Израиля — порвал, не распечатав конверта, и жене строго запретил общаться с бывшим сыном. И теперь, сидя один в пустой квартире, ни минуты не жалел о своем поступке, а только думал-гадал, как он там, на чужбине. Несладко, поди, приходится... Сам виноват!

И вот однажды часов в шесть вечера, когда Прокопий Васильевич, как обычно, сидел в одиночестве за обеденным столом и раскладывал пасьянс (еще одна привычка), в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Пока Прокопий шел от столовой до входной двери, он перебрал в уме все возможные варианты. Может, кто-то из старых сослуживцев вспомнил? Вряд ли, ведь почти никого не осталось: кто помер, кто сидит дома больной, кто уехал, кто потерялся из виду. Нарочный по поводу собрания «афганцев» или какого митинга? Но те ходят по утрам. Сосед какой-нибудь спичек или луковицу одолжить? Это возможно.

Но за дверями стоял человек, не похожий ни на одного соседа и вообще ни на кого, виданного до сих пор в этой жизни. Он был довольно высок, с длинной бородой, в черном пальто и черной шляпе; по бокам головы возле ушей Прокопий разглядел у него самые настоящие косички, какие заплетают маленькие девочки на затылке. От удивления не в силах произнести ни слова, Прокопий молча смотрел на странного пришельца, а тот спросил:

— Могу я видеть господина Прокопия Садикова?

Говорил он с заметным акцентом. Прокопий Васильевич сделал жест, приглашая незнакомца скорее войти в квартиру. Не хватало еще, чтобы соседи увидели, что за подозрительная публика ходит к нему.

— Ну, я Прокопий Садиков. В чем дело? — проговорил он хриплым голосом, когда тот вошел в прихожую и прикрыл за собой дверь. Прокопий разглядел, что несмотря на лохматую бороду, незнакомец очень молод.

— Вот ты какой! — радостно вскричал бородач. — Я твой внук Авраам Садиков. Зови меня просто Абраша. — С этими словами он сгреб Прокопия в объятия.

— Пстой, да подожди! — Прокопий старался освободиться от родственных лобызаний. — Как это внук? Откуда?

— Из Израиля, я по делу в Москве. На несколько месяцев.

До Прокопия постепенно начало что-то доходить.

— Так ты Владимира сын, что ли?

— Ну да, Владимир и Лена Садиковы — мои родители. Папа мне сказал, чтобы я зашел к тебе. Вот смотри!

Он полез в карман, извлек оттуда что-то вроде кожаного альбомчика, раскрыл его и сунул Прокопию Васильевичу под нос.

— Видишь? Мама и папа. А это папа в армии. А это мы трое летом в Испании, я еще маленький. А это моя сестра Лия. А это...

Прокопий взял альбом в свои руки, поднес его под самый абажур. Руки слегка дрожали. Сквозь очки он разглядел фотографии: Володька, никакого сомнения. Улыбается, доволен. А это Лена, наверное, только почему-то с темными волосами. А вот снова Володька — в военной форме, с автоматом на груди.

— Он что — военный? Володька?

— Нет, папа инженер в проектно-институте. В армии служит, когда призывают — как все. Я тоже в будущем году в армию идти должен. А папа сейчас уже в... как это по-русски? Милуим — это старые люди, их берут в армию для охраны и всякой такой службы, не боевой.

Володька — старый?... Да, летит время. А автомат-то — «Калашников»! Израильская армия... Садиков много читал и слышал о ней. Специальный курс лекций в свое время прослушал о войне Судного дня. В общем, генералы из академии давали понять, что на сегодня это лучшая армия в мире — по боевому опыту. И странное дело: уважение к израильской армии никак не влияло на неприязнь генералов из академии и подполковника Садикова лично к евреям вообще и народу Израиля в частности. Это были как бы две параллельные линии, не пересекающиеся даже в бесконечности...

— Ишь, Володька-то, отец твой, какой бравый... Да ты раздевайся, чего стоишь? Пальто снимай, шляпу. Где твои вещи?

— В гостинице. Меня в гостинице поселили.

Авраам снял пальто, под которым оказался черный пиджак и белая рубашка без галстука. Под шляпой была маленькая расшитая серебром шапочка, ее он не снял.

— Садись, давай знакомиться, раз уж родственники...

Конечно, думал Прокопий, Володька совершил непростительный поступок, можно сказать, преступление, но сын-то его в этом не виноват. «Дети за родителей не отвечают» — вспомнил он афоризм своей партийной молодости.

— Папа ранен был года два назад, — сообщил Авраам, усаживаясь за стол. — В Шхеме, когда улицы патрулировали, в него гранату бросили. Слава Богу, остался жив. Но после лечения его — в милуим.

Прокопий вглядывался в лицо своего внука. Пожалуй, на Володьку похож: светловолосый, глаза серые, нос короткий, с набалдашником. Смотри, рязанская порода себя оказывает...

— С угощением у меня не густо. Вот супу могу предложить, котлеток пожарим.

— Нет-нет, дедушка. Я кушать не буду, я сыт, — поспешно сказал парень.

— Неправильно получается. Надо для знакомства выпить и закусить — у нас так положено.

— Выпить? Ты имеешь в виду водку? Это можно, водка всегда кошер.

Прокопий, забыв про солидность, вскочил со стула и поспешил к холодильнику. Надо же, собутыльник, да какой...

— У меня тут на всякий случай... — он хитро подмигнул внуку.

Запинка получилась с посудой.

— Дедушка, а у тебя бумажный стаканчик не найдется?

— Зачем это? А из стеклянного чем плохо?

Авраам смутился:

— У тебя посуда не кошерная. Я не могу, извини.

— Ну, ты прямо, как старовер: они из чужой посуды век не станут...

Выход нашелся простой: половину бутылки отлили деду в пивную кружку, а вторую половину внукпил из горлышка — бутылка ведь новая, значит, кошерная.

— Ну, удивил ты меня, — сказал Прокопий Васильевич, сделав хороший глоток из кружки. — Я ведь о твоём существовании не знал, что ты на свете есть. И вдруг... Да, удивил. Закусывай сырком, закусывай.

Авраам очистил мандарин, закусил долькой.

— Как же не знал? Родители вам письма писали. И ответ получали от бабушки Лены. Мне вслух папа читал. Я, можно сказать, русский язык так учил.

Открытие за открытием! Значит, покойница таилась от него, а сама потихоньку переписывалась с сыном. Как это еще понять можно?

— А вы там по-русски говорите?

— Родители между собой и со мной — по-русски. А вот Лия русского не знает, как-то не научилась.

Прокопий Васильевич чокнулся своей кружкой с его бутылкой.

— Давай за встречу. За знакомство, в сущности говоря. Ну, удивил...

Внук улыбнулся, лихо раскрутил бутылку и влил в себя чуть ли не половину содержимого. Прокопий даже крикнул:

— Ты даешь! Где это ты так научился?

— У любавических хасидов. Здорово умеют пить. Они из России.

— А по какому делу в Москву пожаловал, позвошь спросить?

— Преподавать меня пригласили в местную ешиву. Тут у вас в Марьиной Роще. Конечно, есть более ученые специалисты, но ешива хочет, чтоб хотя бы один был молодой, такого возраста, как сами студенты. Чтоб они не думали, что все ученые люди обязательно старые. Понимаешь?

— Понимаю, — несмело сказал полковник. На самом деле он никогда не слышал слова «ешива», хотя по смыслу разговора догадывался, что это учебное заведение.

— Ты мне скажи, мне любопытно, — сказал Прокопий Васильевич, когда выпили еще.
— Только не обижайся. Вот смотрю я на тебя: ты совсем наш, рязанская порода. А уж про Володьку и говорить нечего. Так? И фамилия у вас русская — Садиковы.

— Фамилия-то как раз еврейская, — перебил внук, — от слова цадик, то есть праведник. Сначала, наверное, было Цадиков, а потом «цэ» превратилось в «эс», получилось Садиков.

Это была такая откровенная нелепость, что Прокопий Васильевич решил пропустить ее мимо ушей и продолжить свою тему:

— Вот я и спрашиваю: как вам там живется среди евреев? Они вас своими, небось, не признают?

Авраам посмотрел на деда с некоторым удивлением:

— Папа действительно не еврей, ну и что? Он по закону равноправный израильский гражданин, голосует на выборах за Ликуд, служит в армии, работает в институте, изобретения имеет. Его все очень уважают. А в Израиле, если посчитать, наверное, четверть граждан неевреи.

— А ты кто?

— Я? Еврей, конечно, кто же я еще?

— Наполовину. Ты еврей наполовину. Я-то знаю.

Парень укоризненно покачал головой:

— Дедушка, евреев наполовину не бывает, как не бывает на одну четвертую, одну восьмую... Это арифметика нацистов. У нас так: или еврей, или нееврей. Либо туда, либо сюда, никаких половин и четвертушек.

Прокопий хитро подмигнул:

— А почему тогда ты еврей, а не русский? Ведь половины равны между собой.

— А потому что всё определяется материнской половиной. Евреи считают происхождение по маминой стороне. Так написано в законе. Ну и, конечно, любой человек может пройти гиюр, принять еврейскую религию.

— Но ведь он всё равно остается тем, кем родился. Заново родиться нельзя...

— У такого человека заново рождается душа. Это важнее, чем тело.

Что? Душа важнее, чем тело? Типичный идеализм! Этого Прокопий Васильевич вытерпеть не мог. Философские познания, почерпнутые на занятиях по истмату, всплыли в голове старого коммуниста:

— Ты что это говоришь, внучек? Это же поповщина получается какая-то. Идеализм антинаучный. Как тебе не стыдно, ты же образованный человек, ты окончил эту...

— Ешиву.

— Во-во, ешиву окончил, сам уже преподаешь. Что же тебе в этой самой ешиве не объяснили, что мир материален, а всякий там дух — это антинаучная поповщина?

В следующий момент Прокопию показалось, что провалился пол или обрушился потолок. Авраам свалился со стула и корчился от хохота на полу. Из глаз его текли слезы, шапочка сползла на ухо, он трясся и выкрикивал сквозь смех:

— В ешиве... мир материален... Бога нет... Дедушка, ты самый смешной человек на свете! — И когда немного отдышался: — За тебя надо выпить. Кончилась? Я могу сбегать. Где у вас магазин?

С этого вечера жизнь Прокопия Васильевича изменилась. Просыпаясь утром, он, прежде всего, вспоминал, какой сегодня день. Если пятница или суббота — не придет. А в другие дни можно ждать, всегда есть шанс, что придет. Действительно, внук навещал его часто, но никогда заранее не мог точно сказать «приду тогда-то», потому что на вечер неожиданно могли назначить дополнительные занятия. А телефона, чтобы предупредить, не было.

Целый день Прокопий Васильевич проводил в ожидании, и всё равно Авраам появлялся неожиданно. Он входил в квартиру деда веселый, шумный, и унылое стариковское жилище, наполненное грустными тенями, сразу оживало. Авраам хлопотал на кухне, разогревая принесенную в судочках еду, клал в морозильник бутылку водки, расставлял на обеденном столе картонную посуду. Прокопий Васильевич сидел в кресле, с удовольствием наблюдал за действиями внука и отпускал замечания:

— Хлеб не ложи на стол, давай на салфетку хотя бы... А еда там не подгорит? Помешать надо.

Когда всё было готово, Авраам мыл руки, бормотал свои молитвы и громко возглашал:

— Полковник Садиков, пожалуйста, кушать!

Они выпивали по первой и тут же наливали еще.

— Между первой и второй перерыв небольшой, — назидательно говорил полковник, и внук охотно соглашался. Но все же так, как в первый вечер, они больше не напивались.

— Злоупотреблять этим делом не нужно, это опасно, — поучал Прокопий. — Сколько людей через это погибло, и какие люди!.. Я от водки никогда не отказываюсь, но нормочку свою знаю. А как Володька? Выпивает?

— Папа свою нормочку знает, — солидно вторил деду Авраам. В его устах все эти дедушкины обороты речи звучали несколько комично, но в чьих ушах? Они всегда сидели вдвоем, слушателей не было.

— Мы, Садиковы, все такие: дело на первом месте, — с удовлетворением констатировал полковник. Он доставал из шкафа толстый семейный альбом с черно-белыми фотографиями, принимался рассказывать о своей семье, об отце, о деду Никифоре, которого отлично помнил. Но чаще всего — о покойной Елене Игнатьевне, и Авраам чувствовал, что эта рана в душе старого Прокопия не заживает.

В первое же утро после знакомства с внуком Прокопий устроил дома настоящий обыск. Всё перерыл, все ящики и чемоданы, и нашел таки то, что искал: стопку писем и фотографий, аккуратно сложенную и перевязанную рукой покойной Елены Игнатьевны. И прочел всё: письмо за письмом в хронологическом порядке. Как устраивались в первое время, как нашли работу — Володя в проектом институте, Лена в патентном бюро; жизнь стала налаживаться, купили квартиру, Абраша пошел в школу, родилась Лия. Описано было и Володино ранение, весьма серьезное, и поступление Авраама в ешиву, — вся жизнь семьи, шаг за шагом. Письма были в основном от Володи, но иногда и от Лены. И те, и другие неизменно кончались приветами отцу, Прокопию Васильевичу, и вопросами о его здоровье. Выглядело так, что Елена Игнатьевна, в свою очередь, в каждом письме передавала приветы от него. Самовольно. Последнее письмо было адресовано непосредственно ему; Володя тревожился по поводу маминого здоровья, предлагал прислать лекарства и денег на лечение. Елена Игнатьевна успела получить письмо, но видимо ответить уже не смогла...

А здоровье Прокопия Васильевича, между тем, заметно ухудшалось. Лечиться он не любил, да и трудно было ему тащиться из своего Чертанова к черту на рога в специальную поликлинику для ветеранов ради какого-то анализа. Ну, анализ, а дальше что? Лучше от этого не становится. Как, впрочем, и от их лекарств...

И вот тут как нельзя кстати пришла помощь внука. По дороге в Чертаново он успевал забежать в аптеку, в магазин, в прачечную, а в свободный день вез деда на могилу Елены Игнатьевны в Кузьминки. Брал такси: на автобусах и метро такая поездка была бы Прокопию Васильевичу не под силу. В расходах Авраам не стеснялся, командировочные ему платили, видимо, приличные.

В отношении здоровья бывали у дедушки дни получше, бывали хуже, а однажды... Авраам сразу, как пришел, взглянул на деда и заметил:

— Ты сегодня плохо выглядишь, бледный, вялый какой-то. Знаешь, сегодня выпивать не будем.

Прокопий Васильевич не возражал, он действительно чувствовал себя неважно. А после обеда совсем расклеился. Прилег на диване и вдруг застонал. Его начало тошнить. Он пытался что-то объяснить, но говорить не мог, язык заплетался.

Авраам усадил его поудобнее, а сам без пальто бросился вниз по лестнице к телефону-автомату у входа в подъезд. В качестве студента ешивы он прошел курс скорой медицинской помощи и даже имел небольшой практический опыт — оказывал помощь людям, раненым взрывом террориста в Иерусалиме. Но все же знаний его хватило, чтобы определить у деда инсульт. В таких случаях, он помнил, нельзя терять ни минуты.

Из трех телефонов у двух были оторваны трубки. По счастью, третий был исправен, и Авраам смог дозвониться до скорой помощи. Говорил он настойчиво, называл себя медицинским работником, а дедушку — героем войны и генералом. Приехали через полчаса.

В больнице Авраама наверх не допустили, он остался внизу, в комнате для посетителей. Прождал часа два. Наконец, появилась пожилая женщина в белом халате и спросила:

— Больной Садиков — ваш?

— Да, мой дедушка.

Она с интересом посмотрела на шляпу и лапсердак и представилась:

— Я доктор Каган. У вашего дедушки кровоизлияние в мозг, но не очень обширное. Жизнь его вне опасности. Он пришел в сознание и отвечал на мои вопросы. О последствиях пока говорить рано, посмотрим, как пойдет лечение.

Затем совсем другим — мягким, «домашним» голосом спросила:

— Я извиняюсь, вы что — из-за границы?

— Из Израиля. Я скоро должен вернуться домой, и дедушка останется один. Я очень беспокоюсь.

— Я понимаю, — темные продолговатые глаза доктора Каган светились сочувствием.

— Мы подержим его подольше и посмотрим. Если реабилитация не даст хороших результатов, будем подыскивать инвалидный дом. Это правда, что он генерал?

— Нет, это регистратура напутала, — схитрил Авраам. — Но он полковник и герой войны. Это правда.

Прокопия Васильевича продержали в больнице десять дней. Фира Львовна Каган проявляла трогательную заботу, наблюдая за ходом лечения, и перед выпиской из больницы предупредила:

— Речь и двигательные функции восстановились, но он очень слаб. Давление скачет. В любой момент инсульт может повториться и уже тогда... Сейчас для него самое главное — покой и хороший уход. Вовремя принимать лекарства, физические упражнения, небольшие прогулки на воздухе.

Срок командировки у Авраама кончился в день выхода деда из больницы. Очевидно было, что оставить его одного в таком положении нельзя. Каждый день Авраам звонил домой, и, в конце концов, было решено, что он останется в Москве, пока дедушка окрепнет. Или, в крайнем случае, подыщет хорошую женщину, которая согласится под присмотром Фиры Львовны ухаживать за больным. За деньги, разумеется. А пока что Авраам переехал из гостиницы к деду.

Эти три недели, последние в жизни Прокопия Садикова, они прожили вместе, одной семьей — дед и внук. Авраам вел хозяйство, ходил за покупками, готовил безыскусную еду, давал лекарства, прибирал в квартире. В середине дня, если позволяла погода, они выходили на прогулку. Прокопий Васильевич медленно передвигал ноги, наваливаясь на плечо спутника. Таким порядком они добирались до скамейки под старой липой, невесть как уцелевшей среди новостроек, и долго там сидели. Отдышавшись, Прокопий начинал рассказывать свою историю, всегда одну и ту же: как они попали в засаду на дороге в Газни, и больше половины отряда погибло. Из офицеров уцелели только он и Кравчук. По тому, с какой настойчивостью возвращался Садиков к этой истории, понятно было, что воспоминания о ней не дают ему покоя.

— Надо было взять севернее, обойти долинку. Я как чувствовал... — говорил он, не глядя на собеседника и непонятно к кому обращаясь.

Их часто навещала Фира Львовна. Каждый раз она осматривала больного, слушала сердце и легкие, мерила давление, и осторожно заводила разговор о повторной госпитализации. И тут полковник взвизывался изо всех оставшихся в резерве сил: ни за что! Отставить разговоры на эту тему! Фира Львовна отступала, хотя по тому, как она поджимала губы и качала седыми завитками, Авраам понимал, что дело плохо.

В конце октября выпал снег, потом подтаяло, потом опять выпал снег и подморозило. В общем, они перестали выходить из дома: на улице скользко, да и по лестнице карабкаться больше не под силу... Речь Прокопия становилась неразборчивой. Он уже не пытался рассказывать про засаду на дороге в Газни, по большей части отстраненно молчал, уставившись куда-то невидящим взглядом. Однажды сказал:

— Имей в виду... ты имей в виду... — По имени он к внуку никогда не обращался: это имя — Абрам, Абраша — звучало для него как презрительная кличка. — Ты имей в виду. Там, в шкафу, под простынями — сберкнижка. Я переписал на тебя. Возьми на похороны, сколько надо, остальное — тебе. Пользуйся на здоровье. Участок для меня в Кузьминках, возле Елены Игнатъевны.

В тот же день снова заговорил про похороны:

— В блокноте под телефоном... найди Кравчука. Скажи ему, когда похороны. Пусть всем передаст, кто еще остался... И прошу, поминки устрой. Кравчука позови... и других, кто остался... Чтоб всё, как положено.

На следующий день ему опять стало хуже, он отказался есть, с постели не вставал. Дыхание сделалось прерывистым. Взглядом он попросил внука нагнуться к нему:

— Скажи Володьке... Володьке скажи... — Он надолго замолчал, потом начал с начала. — Володьке скажи... я был не прав. Тогда, давно... Я не прав.

Это были его последние слова. Вскоре он потерял сознание и ночью умер.

Хоронили, как он просил, на Кузьминском кладбище, возле Елены Игнатьевны. Прокопий Васильевич лежал в гробу в парадной форме при всех орденах. Точно так же выглядели и несколько военных, приехавших на кладбище — в парадной форме, при орденах. Кто из них Кравчук, Авраам так и не узнал, хотя звонил ему за день до того. Военные реагировали на него странно, даже как-то болезненно. Когда он представился и объяснил, что доводится полковнику Садикову внуком, они были ошарашены, несколько раз переспрашивали и недоуменно переглядывались. Авраам пригласил их на поминки и раздал всем заранее отпечатанный адрес. Над могилой прочел заупокойную молитву «Эль молэ рахамим»: «Боже Всемилостивый, обитающий в вышине! Под крылами Божественного присутствия, меж святыми и праведными, сияющими небесным светом, упокой душу нашего любимого Прокопия, отошедшего в вечность»...

Звеня орденами, военные поспешно покинули кладбище.

Дома Авраам и Фира Львовна накрыли стол, выставили обильную выпивку и закуску, и принялись ждать. Они долго ждали, но никто не появился. Тогда они вдвоем, не чокаясь, выпили за светлую память полковника Прокопия Васильевича Садикова.

В следующие два дня Авраам оформил по доверенности отца акт дарения больнице, где последний раз лежал дедушка, всего полученного по наследству имущества и денег, оставив себе только семейный альбом и письма, и на третий день улетел домой, в Израиль.

[Вернуться на главную страницу
сайта «Круг интересов»](#)

К
следующем
у рассказу

Опубликовано на сайте Евгения Берковича «Заметки по еврейской истории» № 6/41 в июне 2011 года.: <http://berkovich-zametki.com/2011/Zametki/Nomer6/Degen1.php> :



Ион Деген

Цепочка

Солнечный луч весело ворвался в спальню, отразился в перламутровой поверхности шестистворчатого шкафа во всю стену и коснулся лица спящей женщины. Она открыла глаза и улыбнулась. Точно так же двадцать шесть лет назад солнечный луч разбудил её в комнате-клетушке университетского общежития. В то утро, в отличие от этого, она никуда не спешила. В пять часов начнётся церемония вручения дипломов. Потом банкет. А потом – вся жизнь. Завтра на несколько дней она поедет к маме и вернётся в Варшаву, чтобы приступить к работе врача в университетской клинике педиатрии. Вот только с жильём ещё нет ясности. Но не было сомнений в том, что всё устроится.

Вчера Адам пригласил её в кино. Потом проводил до общежития. Они стояли у входа в красивое здание, отличный образец барокко. Фасад восстановленного здания не отличался от того, который был до взрыва бомбы. Немецкой? Советской? Кто знает? Сейчас фасад был точно таким, как до первого сентября 1939 года. Но внутри вместо просторных уютных квартир на всех трёх этажах были комнатки-клетушки по обе стороны длинного коридора с туалетом и двумя душевыми кабинами в торце.

Адам в сотый раз предлагал Кристине жениться. Завтра они получают дипломы. Нет никаких препятствий для создания нормальной счастливой семьи. Кристина деликатно объясняла ему, что хотя бы в течение одного года, ну, хотя бы только одного года она обязана специализироваться по педиатрии. А специализация, которая по интенсивности даже превзойдёт студенческие нагрузки, не совместима с семейной жизнью. К его огорчению она уже привыкла. Компенсировала это разрешением при расставании поцеловать её в щеку.

В комнате она подумала об их отношениях. В чувствах Адама Кристина не сомневалась ни минуты. Он любил её с первого курса. Да и ей Адам нравился. Видный, интеллигентный, горожанин, образованней её. Но, по существу, сельская девочка, воспитанная строгой католичкой, понимала, что никакой близости не может быть до тех пор, пока не выйдет из костёла с единственным до самой смерти мужчиной. Кто знает? Может быть, Адам согласится подождать ещё год?

День, который начался с того, что солнечный луч разбудил её в комнатке общежития, мог стать одним из самых счастливых в жизни. Вручение дипломов было

таким торжественным, таким праздничным, что пришлось сдерживать предательски подступающие слёзы. Её назвали в числе самых лучших студентов с первого курса до последнего экзамена. Не это её растрогало. Она привыкла быть лучшей ученицей в школе. Там, правда, это почему-то оставляло её одинокой, без подруг. В школе она вообще чувствовала себя неприкасаемой. В старших классах поняла значение косых взглядов одноклассников по поводу её безотцовства. А в университете Кристина с первого курса осознавала себя лидером, в центре внимания парней, не обжигаемая ревностью девушек. Во время банкета к ней, разрываемой кавалерами, приглашавшими на танцы, подошёл старенький профессор, заведующий кафедрой педиатрии, и сказал, что согласован вопрос о её работе в руководимой им клинике. Адам, как обычно, проводил до общежития. Снова предложение. Снова те же возражения. Снова то же прощание с разрешённым поцелуем в щеку.

А дальше начался ужас. Он был ещё невыносимей потому, что начался не на фоне будней, а после такого неповторимо, такого радостного дня.

На прикроватной тумбочке ждала телеграмма: «Умерла мама приезжай». Мама... Единственное родное существо. Никого, кроме мамы, у неё не было. Сколько помнит себя, только она и мама. Красивая мама, несмотря на то, что лицо её обезображено оспой, такой редкой в Польше. Мама, с которой она прожила на крошечном хуторке у опушки леса всего в нескольких километрах от Варшавы всю жизнь от рождения до поступления в университет. Жалкий домик. Маленький огород, Коза и несколько кур. Когда Кристина пошла в школу, мама начала работать санитаркой в ближайшей больнице. В ближайшей! Девять километров туда и девять километров обратно после суточного дежурства. В слякоть и в снег, в жару и в стужу. Мама. Она никогда ни на что не жаловалась. Никогда не болела. И вдруг «Умерла мама приезжай». Понятно, что телеграмму послала мамина подруга, Зося, живущая почти в такой же хуторке метрах в трёхстах от них. Что же случилось? Ещё неделю назад письмо от мамы. И никаких жалоб. Никакой тревоги.

Кристина подсчитала деньги. Хватит ли на такси? Она вышла из общежития в июньскую ночь и меньше чем через час оказалась в пустом доме. Утром у Зоси узнала, что мама накануне умерла в больнице от рака поджелудочной железы. Узнала у Зоси, что мама почти в течение месяца страдала от невыносимых болей, но не хотела потревожить дочку, не хотела, чтобы дочка ради неё отвлеклась от таких важных государственных экзаменов.

После незаметных похорон, — она, Зося, несколько сотрудников больницы, незнакомая супружеская пара из ближайшего села, — после скромнейших поминок Зося осталась с ней, и долго колеблясь и не решаясь, в конце концов, спросила:

— Крыстя, Ванда тебе ничего не говорила о твоём рождении?

— Нет. Ты имеешь в виду об отце?

— Ну, об отце ты, наверно, знаешь, что Ванду изнасиловал не то немецкий солдат, не то кто-то из Армии Крайовой. Так знай. Никто Ванду не насиловал. Не было у неё никогда никакого мужчины. — Зося умолкла, задумалась. — Ты знаешь, где у Ванды хранятся документы и там всякое? Посмотри.

Кристина, до которой медленно доходил смысл сказанного, подняла тощий матрас вандыной постели. Небольшой пакет в плотной коричневой бумаге. Маленькая картонная коробочка. В таких обычно лекарственные таблетки. Пакет этот Кристина видела. Знала о

его содержимом. Коробочку увидела впервые. Она положила её на стол. Открыла. Небольшая изящная тонкая золотая цепочка с удивительно красивым маленьким кулоном в виде раскрытой кисти руки. На ней две возможно какие-то буквы непонятного алфавита, а между ними не то чуть удлинённая точка, не то запятая. Иероглифы эти – микроскопические алмазы, впрессованные в ладонь. Зося взяла цепочку и сказала:

– Вот эта цепочка была на тебе, когда Ванда на рассвете того майского дня нашла тебя.

Кристина, ещё не пришедшая в себя после похорон, почувствовала, что теряет сознание. Зося обняла её голову и приложила ко рту чашку с холодной водой. Села рядом с Кристиной и подвинула к ней коробочку с цепочкой. Долгое молчание воцарилось в убогом жилище.

– Ну? – Спросила Кристина.

– Что ну? Ночью была стрельба рядом с нами. К отдалённой стрельбе в Варшаве в течение почти месяца мы уже привыкли. А тут у нас под носом. Утром было всё тихо. Я пришла к Ванде в тот момент, когда она купала тебя. Каким же красивым младенцем ты была! Ангелочек. Месяца полтора-два. И на шее твоей была эта самая цепочка. А кулон доставал чуть ли не до пупа. С детства у нас с Вандой не было тайн. Ванда показала мне каракулевую шубу, в которой она тебя нашла почти у самого дома. Шубе не было бы цены, если бы она не была вся в грязи. Боже мой! Грязи на ней было больше, чем шубы. Ванда потом её постепенно отстирала. Шубе действительно не было цены. Продать её не без труда удалось уже через два года, уже после войны. А ещё в кармане шубы было несколько дорогих колец. Одно из них и мне спасло жизнь от голода чуть ли не перед самым приходом советов. Ну, и Ванде с тобой... Да. Днём стало известно, что из гетто по канализации выбралось несколько жидов. Вроде бы их проводили до Кабацкого леса. Ну, тут их застукали не то немцы, не то наши, не то украинцы из СС. Уже в лесу за моим домом нашли убитую жидовку. Говорили, очень красивую. Возможно, это именно она подкинула тебя около вандыной хаты.

Солнце уже залило всю спальню. Зазвонил будильник. Она завела его в половине третьего, когда телефон разбудил мужа. Второго профессора, заместителя заведующего отделением срочно вызвали в больницу. Дежурная бригада хирургов беспомощно застряла посреди сложной операции. Муж выехал. По привычке, зная, что долго не уснёт, чтобы не опоздать на работу, завела будильник. Действительно, уснула, когда начало светать.

Сейчас, стоя под почти холодным душем, она вспоминала своё возвращение в Варшаву, любимую работу в клинике, поиски неизвестно чего неизвестно где. У неё не было сомнения в том, что убитая красивая жидовка, которую нашли в лесу, её биологическая мама. Жидовка... Следовательно, и она жидовка. Что это значит? Кто такие жида? Что значит гетто? Где оно? В десятках путеводителей по Варшаве, в которых описывались даже какие-то малозначащие, за уши притянутые дома, о гетто не было ни слова.

Она искала жидов. Говорили, что их почти нет в Варшаве. Говорили, что считанные польские жида покидают Польшу и уезжают в Израиль. Говорили, что в Варшаве функционирует синагога. Не без труда она даже нашла её. Несколько раз приходила, но почему-то всегда натыкалась на закрытую дверь. Наконец ей повезло. Дверь была открыта. В просторном сумраке она нашла двух старых жидов. Показала им

цепочку. Да, это еврейские буквы. Аин, йод и хетг. Но у стариков нет ни малейшего представления, что они значат. Кристина рассказала им о себе. Они долго думали, переговаривались между собой. Затем один из них сказал:

– Мы думаем, что пани следовало бы обратиться к Любавичскому раби. Он просто пророк. К тому же, он очень образованный человек. Возможно, он ухватится за конец цепочки.

Предложение Кристине показалось заманчивым. Но, узнав, что этот самый раби не житель Варшавы, ни даже Польши, она постаралась забыть о совете.

К этому времени, как ей показалось, у неё уже окончательно определилось отношение к Адаму. Через три дня после получения диплома, не воспользовавшись отпуском, он уехал в Щецин, где ему нашлась должность хирурга. Письма он присылал чуть ли не ежедневно. Следует отдать ему должное, письма были интересными и содержательными. Кристина не представляла себе, что он обладает таким эпистолярным талантом. Следует ли говорить о том, что каждая страница светилась любовью. Кристина, отвечавшая нерегулярно, уже собиралась описать своё новое состояние, чтобы не было между ними недомолвок и неопределённости. Но, прочитав трилогию Фейхтвангера, она написала ему о впечатлении, оставленном этими книгами, о том, с каким пиететом сейчас относится к истории евреев, этого древнего, необычного народа. Ответ Адама её не просто огорчил. Ещё до смерти мамы, ещё не имея представления о том, что узнала потом, всегда испытывала явное отвращение к любому проявлению ксенофобии. А тут письмо отъявленного антисемита, утверждавшего, что еврей Фейхтвангер не мог объективно и честно написать о своем чудовищно подлом народе, который многие народы не напрасно истребляли в течение многих веков. Безответные письма Адама приходи ещё примерно два месяца. Сперва, читая эти письма, она испытывала некоторую вину, некоторое огорчение, вызванное потерей. Потом задала себе вопрос: любила ли она Адама? Собственно говоря, что оно такое – любовь? Какой у неё вкус, какой запах, какой цвет? С чем её сравнить, если у неё нет точки отсчёта?

В конце ноября произошло чудо. В медицинской школе Гарвардского университета на конференции по теме, которой занималась кафедра педиатрии Варшавского университета, профессор должен был прочитать свой доклад. Но старик опасался полёта в Америку. Один из доцентов болел. Второй торопился окончить диссертацию, чтобы, не дай Бог, не упустить возможности занять место профессора. К талантливой Кристине, к начинающему врачу, с таким пониманием вникшей в тему, старик испытывал отцовские чувства. Поэтому именно ей он предложил в Гарварде прочитать его доклад. Кристина восприняла это как знак свыше.

В Бостон она летела через Нью-Йорк. На обратном пути, остановившись в Нью-Йорке, приехала в Бруклин, и, отстояв в очереди несколько часов, попала к Любавичскому раби.

В самолёте, возвращаясь в Варшаву, она не переставала удивляться состоянию во время этого визита, удивительной душевной лёгкости, желанию раскрыться до основания, терпению этого старого мудрого человека, рассматривавшего цепочку. Его польский язык был совершенным – богатым и красивым. Но не это главное. Казалось, речь струится не изо рта между усами и бородой, а из глаз, добрых, всепроникающих. Что это было, гипноз? Нет, нет, определённо не гипноз! И всё-таки что-то необъяснимое, трансцендентальное. Он рассказал, что три буквы – это аббревиатура фразы ам Исраэль

хай, народ Израиля жив. Ей не хотелось уходить. Но он деликатно намекнул на очередь, которую и она отстояла, подарил ей доллар и сказал:

– Нет ни малейшего сомнения в том, что вы еврейка. В этом определении нет ничего мистического. Но мне очевидно и то, что ваше место в Израиле. При первой же возможности уезжайте туда.

Вечером в гостиницу неожиданно позвонил представитель еврейского агентства. Долго говорил с ней по-польски. Спросил адрес в Варшаве. Пообещал, что там с ней свяжется их представитель.

События покатались с невероятной быстротой. Кристина узнала, что жалкие остатки польских евреев, гонимые антисемитизмом, покидают страну. А летом 1968 года и она уже была в Израиле.

Симпатичная квартирка в центре абсорбции в Иерусалиме. Курсы иврита. Начало работы в больнице, чтобы подтвердить свою врачебную профессию и войти в курс израильской медицины. Не обошлось без трудностей. И бюрократических. И материальных. Но обошлось. Уже не Кристина, а Лея желанная гостя на вечеринках у израильтян. А главное – тот незабываемый вечер, который определить можно только одним словом – чудо. Вот он доллар Любавичского раби!

Милая коллега-сабра, ставшая доброй проводницей в её новой жизни, пригласила Лею на ужин. За столом собралось человек пятнадцать. Напротив оказался мужчина лет тридцати, или чуть меньше. Что это было? Лея не могла объяснить. Просто оказалось, что любовь не абстрактное понятие. Пусть нет у неё ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Оказывается, почувствовать её можно мгновенно. Лея понятия не имела об этом человеке, но впервые в жизни ощутила, что это именно тот мужчина, за которым она, ни о чём не размышляя, ничему не сопротивляясь, может пойти на край света. Несколько секунд, или минут они смотрели друг на друга. Он встал и, слегка прихрамывая, подошёл к её соседу, улыбаясь, поднял его и сел рядом с ней. Представился: Гиора, студент второго курса медицинского факультета, инвалид Армии Обороны Израиля, бывший военный лётчик. На своём бедном иврите она ответила, что около полугода назад репатрировалась из Польши и работает врачом. Ни он ни она не спросили друг друга о семейном положении. Он встал, взял её руку. Она немедленно поднялась. Они ушли, даже не попрощавшись с хозяйкой. У подъезда он усадил её в автомобиль и повёз к себе.

Она отлично помнит его квартиру в новом районе Иерусалима, её первое постоянное жилище в новой стране. Свет, войдя, он не зажгёт. Большой салон скудно освещался уличными фонарями. На полголовы выше Леи, он нежно обнимал и целовал её. Нет, не в щёчку. Она неумело, но страстно впиалась в его губы. Она не представляла себе, что это может доставить такую радость, такое удовольствие. Он ещё не знал, что она девственница. Но каким-то необъяснимым образом понимал, что должен относиться к этой женщине, к этому чуду, как ювелир относится к невероятно драгоценному камню. А дальше его удивлению не было предела. Ей двадцать пять лет! Красавица! Такая страстная! И девственница! Непонятно. А дальше это был фантастический сплав нежности и просто неистовой страсти. Кажется, в течение ночи они не уснули ни разу. В какой-то момент совершенно обессиленная, выжатая, как лимон, она лежала, положив голову на его широкую волосатую грудь, и подумала: как мудр Любавичский раби, Только для этого ни с чем не сравнимого удовольствия, для этой неопишуемой радости она должна была приехать в Израиль. А потом весь день субботы не отличался от ночи. А

потом была ночь на воскресенье, и утро, когда следовало с небес спуститься на землю и пойти на работу. Нет, этот спуск был невозможен.

Гиора позвонил хозяйке дома, в котором увидел Лею, дорогую Лею, драгоценную Лею, и сказал, что Лея слегка нездорова и не может поехать в больницу. Попечительница-коллега Леи рассмеялась:

– Всё в порядке. Наслаждайтесь друг другом.

И они наслаждались. Лея не помнит, что они ели в течение двух дней, и ели ли вообще. И нужно ли было есть и терять на это драгоценное время.

Свадьбу сыграли ровно через месяц. Это было нечто грандиозное. Казалось, на свадьбе присутствовала вся военная авиация Израиля, и вся больница, и весь медицинский факультет Иерусалимского университета, и половина университета Бар-Илана, в котором отец Гиоры, профессор в чёрной кипе, преподавал биологию. Кстати, Гиора тоже носил кипу, но вязанную. Надо ли упоминать, что Лея стала хозяйкой кошерного еврейского дома? Ровно через год родился сын. Сейчас Авраам лётчик, капитан Армии Оборона Израиля. А ещё через три года, как раз в тот день, когда Гиора получил диплом врача, родилась Рахель. Господи! Какой это был красивый младенец! Авраам был обычным новорожденным, нормальным, а такого красивого младенца педиатр ещё не видела. Лея подумала, не так ли выглядела я, когда меня нашла мама? Не это ли имела в виду Зося, рассказывая о том, как мама купала её? В тот же день она надела на девочку ту самую цепочку. Два года Рахель отслужила в армии. А сегодня у студентки первого курса медицинского факультета Иерусалимского университета очередной экзамен.

Это был обычный рабочий день. Больница уже давно размещалась в новом огромном здании. Лея осматривала очередного ребёнка, когда в палату ворвалась сестра и сказала, что только что террорист-самоубийца взорвал автобус. Много убитых. Кареты скорой помощи доставляют в больницу раненых. А через несколько минут её вызвали в приёмный покой. У входа творилось нечто невероятное. Ещё привозили раненых. Начали появляться родственники. Обычная картина дня террора, к ужасу которой нельзя привыкнуть.

У входа Лея наткнулась на старика в чёрной шляпе и в чёрной одежде хасида. В такую жару! К этому она уже привыкла. Старик преградил Лее дорогу:

– Доктор, как моя внученька, моя родная внученька, как она?

– Сейчас посмотрю. – Раздвинулись двери, и она скрылась в приёмном покое. Появилась она минут через десять. На ней не было лица. Старик понял это по-своему и тоже чуть не потерял сознание.

– Жива?

Лея, на лице которой не было кровинки, выдавила из себя:

– Жива, жива. Ничего опасного. Даже не контузия, а травматический шок. Думаю, вечером сможете забрать её домой.

– Доктор, так в чём же дело? Что с вами?

– Цепочка...

– Что цепочка?

– Откуда у неё такая цепочка?

– Как откуда? Я сделал две такие цепочки. Абсолютно одинаковые. Хоть мне ещё не было тридцати лет, я уже был в Варшаве знаменитым ювелиром. И не только в Варшаве. Может быть, потому, что я был таким ювелиром и немцы нуждались во мне, мы и просуществовали, когда в гетто проводились сплошные акции, просуществовали почти три с половиной года. Мы с моей дорогой Двойрой любили друг друга ещё будучи малыми детьми. А поженились мы уже в гетто. Доктор, вам плохо? Давайте сядем. Я вам принесу воды.

– Спасибо. Не нужно воды. Сядем.

– В декабре 1941 года у нас родилась Сареле. И я сделал для неё цепочку, которую вы увидели. А первого марта 1943 года у нас родилась Блюмеле. И я сделал ещё одну точно такую цепочку. А потом началось восстание. Я не знаю, что вы знаете об этом восстании. Но сейчас о нём говорят очень много неправды. Основная военная сила евреев была у нас, у ревизионистов. Именно мы наносили нацистам самые большие потери. А коммунисты были против социалистов, а бундовцы были против коммунистов, а все они были против ортодоксов. И вообще все были против всех, вместо того, чтобы всем вместе быть против немцев. Шестнадцатого мая несколько евреев по канализации мы выбирались из гетто. У меня на руках была Сареле, а у Двойры – Блюмеле. Вы представляете себе, май месяц, канализация, а на Двойреле её дорогая каракулевая шуба. Она ни за что не хотела её оставить. В кармане шубы были некоторые драгоценности. Но большинство было у меня вместе с инструментами. Эта канализация! Что вам говорить? Только это, только поход в дерьме по самый пояс, а иногда и выше, когда нечем дышать, может искупить все самые страшные грехи, в течение жизни совершённые самым плохим человеком. Как мы дошли до выхода? Это просто невероятно. А Двойреле в своей шубе.

Лея заплакала. Старик посмотрел на неё:

– Доктор, может быть хватит слушать глупого старика?

– Продолжай, отец, продолжай.

Старик с непониманием посмотрел на врача. Может быть, расчувствовавшись, она так назвала старого человека? Бывает.

– На выходе нас ждали поляки. Они должны были проводить нас до Кабацкого леса. На опушке нас обстреляли. Когда мы уже были в лесу... – Старик заплакал. – Ни Двойреле, ни Блюмеле. Потом поляки, когда я служил у них в Армии Крайовой, сказали, что Двойреле убили. А о Блюмеле ничего не сказали. Я был нужен полякам. Ведь я не только хороший ювелир, но ещё отличный гравер. Поэтому они берегли такого еврея. Как раньше немцы в гетто. Я приехал с Сареле в Палестину в 1946 году. Как мы страдали! Хуже, чем гетто. Англичане нас выбросили на Кипр в концентрационный лагерь. Когда возникло государство Израиль, мы приехали в Иерусалаим. Я так и остался один. Я очень любил Двойреле. Для меня не могло быть другой жены, хотя я религиозный еврей и должен был выполнить завет, должен был жениться. Сареле выросла, вышла замуж за очень хорошего человека. Сейчас он полковник в запасе. Бригадного генерала ему не

дали. Может быть потому, что он носит чёрную кипу. Не знаю. У них четверо замечательных сыновей, моих дорогих внуков. А они так мечтали о дочке. И Господь услышал их просьбу. В сорок один год она родила мне внуку, которую вы видели. А о Блюмеле так ничего и не известно.


Лея обняла совершенно обалдевшего старика. Целовала его, натываясь на седую бороду. Плакала.

– Отец, дорогой мой отец, я расскажу тебе о Блюмеле. Я Блюмеле. Только до смерти моей дорогой польской мамы я не знала, что я Блюмеле. Я знала, что я Кристина. А когда репатрировалась в Израиль, стала Леей. Сегодня, когда твоя внучка, моя дочка Рахель придёт из университета, ты увидишь вторую цепочку.

28 апреля 2011 г.

[Вернуться на главную страницу
сайта «Круг интересов»](#)

**К
следующем
у рассказу**



Опубликовано в журнале:

«Континент» 2002, №111

Геннадий Трифонов

Русский ответ на еврейский вопрос

Попытка мемуаров

Геннадий Трифонов — родился в 1945 году в Ленинграде. Окончил русское отделение филологического факультета ЛГУ. Преполагает в гимназии английский язык и американскую литературу. В 1975 году за участие в парижском сборнике откликов на высылку из СССР Александра Солженицына был репрессирован и в 1976-1980 гг. отбывал заключение в лагере. Автор двух книг стихов, изданных в Америке, двух романов, вышедших в Швеции, Англии и Финляндии, и ряда статей по проблемам русской литературы. Печатался в журналах «Время и мы», «Аврора», «Нева», «Вопросы литературы», «Континент». Живет в Петербурге.

“Что сказать мне о жизни? Что оказалась
длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

Из него раздаваться будет лишь благодарность”

Иосиф Бродский, 1980 год.

Те, кому доводится разговаривать с моей матерью по телефону, когда она вместо меня поднимает трубку, удивляются ее сильному и все еще молодому голосу. Поэтому мне часто приходится выслушивать:

— Вы, верно, преувеличиваете возраст вашей мамы. Человеку под 90, а в мыслях такие ясность и легкость, словно она у вас прожила не в этой стране, а где-нибудь на берегу Женевского озера. Что-то здесь не так...

— А как? — любопытствую я.

— Не знаем как, но знаем, что не так.

А недавно мать в очередной раз посетил наш участковый врач, Зассыхин, В.П. — фамилия натуральная — и задал ей свои обыкновенные вопросы: “На что вы, бабушка, жалуетесь? Что вас беспокоит?”. И услышал в ответ: “На правительство и погоду. А беспокоит, доктор, рост мозолей и антисемитизма”.

Ко всему на свете привыкший доктор посоветовал:

— Мозоли смажьте каким-нибудь питательным кремом. — И добавил: — А насчет антисемитизма — это не ко мне. Меньше телевизор смотреть надо. Всяких глупостей насмотритесь, потом жалуетесь. Вы, больная, очень впечатлительная.

— Это у меня с детства, — с ноткой извинения успокоила мать несчастного участкового врача. И тот удалился до следующего визита.

С детства и начнем.

Впервые и самостоятельно моя мать, Трифонова Екатерина Андреевна, 1914 года рождения, приехала в Ленинград из дальней своей деревеньки на севере Вологодской области совсем еще ребенком в 1927 году по направлению тамошних врачей для лечения травмированного крестьянской работой глаза.

Остановилась она у своей родной тетки по отцу Серафимы Трифоновны Макаровой в одном из домов Столярного переулкa, в большой коммунальной квартире, в результате уплотнения которой тетка вместе с пятью дочерьми и мужем-инвалидом занимала две крохотные комнатенки. Глаз кое-как подлечили, и тетка поспешила через месяц отправить племянницу обратно в деревню.

— Я тогда и город-то не разглядела как следует, — рассказывает моя мать, — И никак не думала, что скоро опять сюда вернусь и проживу целую жизнь со всеми ее ужасами и радостями. В блокаду выжила — помогли добрые люди. А в деревне-то точно померла бы к 30-му году уже. Такое началось тогда, что не приведи Господи...

В 29-м году на подворье к моим деду и бабке пришли местные агитаторы-активисты “добровольно” записывать в колхоз. К тому времени деду уже нарезали его три га земли, и он — при наличии лошади и семилетней уже старшей дочери и жены — оставался в уверенности, что землю свою обработает и кое-что на ней вырастит. А коль стал он единоличником и в колхоз не пошел, очень скоро неугомонные активисты вновь его посетили “для обложения налогом на избу, на лошадь, на землю и будущий урожай”. Они и увели со двора лошадь Мальку, из крохотного амбара повыскребли остатки зерна, разорили мельницу, на гумне подожгли сено, повытоптали огород, оставив многодетную семью крестьянина без всяких средств к существованию.

Дед мой, Андрей Трифонович, был человек отчаянный, поэтому, взявшись за топор, стал призывать к топорам и других мужиков своей и соседней деревни Огрызово. Соловков избежал потому только, что, во-первых, деревня их, Чуниково, от уездного центра Бабаево удалена была на сто верст, а во-вторых, мужики сильно к вечеру того дня напились — видимо, с горя, — и восстание не состоялось.

Наши историки преступно мало знают и говорят о 20-х годах. “А на самом деле, — пишет в своих “Воспоминаниях” Н. Я. Мандельштам, — двадцатые годы — это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего” (Кн. 1-я, стр. 176). И это будущее уже вырисовывалось за порогом “года великого перелома” (1929). Вот что читаем мы сегодня у английского историка Роберта Конквеста в его “Большом терроре”: “Уже в 1930 количество коллективизированных крестьянских дворов увеличилось с 4 до 14 миллионов. Более половины всех крестьян было коллективизировано за 5 месяцев. Против коллективизации бросились в борьбу, вооруженные чем попало. Вооружались обрезом, колуном, кинжалом, финкой. Крестьяне предпочитали скорее резать скот, чем отдавать его в руки государства. Калинин, Орджоникидзе и другие члены политбюро выезжали в провинцию и, по-видимому, привозили правдивые отчеты о катастрофическом положении деревни. Однако Сталин к этим голосам не прислушивался, упорно проводя в жизнь так называемую новую

политику”. И там же: “Четверть века спустя Хрущев сообщил миру, что Сталин не бывал в деревне с 1928 года. Для него вся коллективизация была чем-то вроде кабинетной операции” (т. 1, с. 36, 58).

Но и это еще не все. На фоне коллективизации приступлено было и к борьбе с народной религиозностью. В местах обитания моих предков было запрещено богослужение в девяти церквях. И, как вспоминает моя мать, для срыва службы арестовывали священников.

— Огрызовский школьный учитель Василий Игнатьевич Тихонов, — рассказывает мать, — предложил ученикам ходить по домам, собирать иконы и распространять слух, что владельцы икон будут облагаться налогом. Целые деревни вызывали друг друга на соревнование — кто больше и быстрее закроет церквей. А наш председатель сельсовета сопровождал в Вологодскую тюрьму арестованного священника, отца Киприана. Заспорили они по религиозным вопросам. В результате нервы у председателя не выдержали этого спора, и он отца Киприана застрелил. А бабушка Акулина все наши иконы попрятала на бывшем нашем огороде. Иконы хороши были, старого еще письма, в серебре.

— Это ведь всё русские русским делали, — добавляет мать. — У нас, кроме заезжих цыган нищенствующих, никаких иноземцев не водилось. Немцев или китайцев близко не бывало, а уж об евреях и не говорю. Народ всё кругом наш, православный, вперемешку с нашими же новыми русскими безбожниками.

Дедушка мой, после опохмелки от несостоявшегося бунта, обратившись к моей матери, решил так: “Как ты у нас, Катёшка, самая старшая, так тебе в работу пора, в город. Хоть ты там целеешь, а мы тут — с Божьей помощью — ковыряться будем”.

Утром следующего дня Катёшка послана была “тятенькой” в Огрызово к единственному “знающему грамоте” дяде Ермолаю — свояку моей бабушки Акулины — с просьбой “отписать письмо в Ленинград к Серафиму, чтобы та пристроила племянницу в городе в люди”. И 2 марта 1930 года — в день появления в “Правде” знаменитой сталинской статьи об уроках коллективизации “Головокружение от успехов” — Катёшка снова ступила на деревянную платформу бывшего Николаевского вокзала.

В течение двух месяцев тетя Сима (так по-городскому звали теперь Серафиму Трифоновну), работавшая тогда в столовой при какой-то новой советской конторе, откармливала девочку. Однако “за малолетством” никакой работы для нее не находилось.

— Ежели, Катюша, к месту не определишься, надо тебе в деревню возвращаться. Мне шестерых-то тащить — сама понимаешь. А брат Андрей рукодельный — корзины да короба плетет, вот и будешь возить их на продажу в уезд. — Но подумав и вспомнив о причинах явления Катёшки в Столярном переулке, сказала: — Только возить-то на чем? Кобылу со двора свели. Да и кому ноне короба-то нужны? Что в них, в коробах-то, держать ноне? Ладно, ищи места.

Катюша сильно приуныла и пошла искать места. Встала у входа в булочную, что и в наши дни находится на углу Гражданской и Вознесенского проспекта, как раз у самого канала Грибоедова. И стала спрашивать входивших: “Вам, тетенька, няня к ребенку не нужна?”

В один и в самом деле замечательный майский день из булочной вышла прилично одетая дама лет сорока. Увидев девочку, она заторопилась вложить в ее ручку слойку и пару бубликов, приняв стоящую за обыкновенную нищенку.

— Я, тетенька, сытая. Мне места надо. Вам няня к ребеночку не нужна? Я с ребятами могу управляться. Нас у мамы трое, и я всех троих тащила в деревне-то. Возьмите меня.

— А сколько тебе лет, девочка? Десять скоро? Кошмар! А где ты живешь? — спрашивала “нищенку” дама.

— Я? Туга. В Столярном, в седьмом доме, у тети моей — у тети Симы. У Серафимы Трифионовны, — уточнила девочка, прочтя на красивом лице дамы некую задумчивость.

— Это меняет дело, — улыбнулась дама. — Мы живем в доме 11, квартира во втором этаже, вход с парадного. Приходи утром. Звонок дерни посильнее, а то я в дальних комнатах могу и не услышать. Я тебя буду ждать, девочка. Нам няня очень нужна. Непременно приходи.

— Я приду! — радостно вскричала Катешка и побежала докладывать тете Симе о найденном месте.

По такому случаю тетя Сима пошла в Гостиный двор купить племяннице новенькое платьице — “из ситчика с рюшечками, по белому полю все синие васильки”, “чтобы было в чем в люди выйти”. И на утро следующего дня Катюша уже дергала со всей силы звонок квартиры, на дубовых дверях которой висела медная табличка: “Инженер-химик Вениамин Захарьевич Мельтцер”.

Помнится, такими табличками были отмечены тогда все почти квартиры старого города, в которых обитали семьи тогдашней промышленной интеллигенции. У меня до сих пор хранится такая табличка с дверей нашей коммуналки в доме на Большой Подъяческой: “Инженер-механик Александр Маркович Фриндлендер” изящного старого витиеватого шрифта. Сам Александр Маркович погиб в блокадном Ленинграде, потому что ввиду преклонных лет и полного истощения выехать из города уже не имел сил. А дочь его, Жозефина Александровна, была моей первой учительницей. Когда мне потребовались очки, а матери моей купить их мне было не на что, Жозефина Александровна мне их раздобыла. Это ей в конце 50-х читал я свое самое первое стихотворение.

Хозяйка большой и богато обставленной квартиры встретила Катюшу приветливо и сразу объяснила ей ее новые обязанности. В них входило быть неотлучно при годовалой Тамарочке, жить с ребенком в одной комнате, гулять с ней в Юсуповском саду, кормить ее уже приготовленной пищей, стирать ее детские вещи, а летом выезжать на дачу в Сиверскую.

— Зовут меня Александра Львовна. Мужа... Там на дверях написано. Читала?

— Я грамоте еще не умею, — призналась Катюша, потупившись.

— Ах, понимаю, Катенька, понимаю. Извини. А вот учиться тебе надо, раз ты в большой город приехала. С осени пойдешь в школу рабочей молодежи. А за лето я тебя читать-писать выучу — это просто. Ты чай-то пей, бери варенье, не стесняйся. И вообще, когда кушать захочешь, на кухне, между дверей, все стоит. Бери, не спрашиваясь. Мой муж — директор большого завода в Чудове. Нас продуктами снабжают. Так что ты ешь, не стесняйся. А на даче — и ягоды в саду. Так что мы с тобой будем варить варенье.

По всему было видно, что Катенька Александре Львовне нравится все больше и больше. Поэтому она за чаем, который сама для девочки накрыла в столовой и разлила из

сервизных заварных и иных чайников в восхитительные чашки старинного фарфора, а варенье клубничное подала в изящных розетках (по воспоминаниям моей матери, управляться с вареньями надо было тонюсенькими серебряными ложечками, каких она и не видывала прежде), заочно познакомила девочку с семьей:

— У нас с Вениамином Захарьевичем два сына — Натан и Кива, но ты можешь называть его Колей. Им по 19 лет, и они только что поступили в медицинский. Моя средняя дочка — Фридошка, она учительница. А младшая Ася и ее муж Боря — как раз и являются родителями Тamarочки. Завтра воскресенье, и ты всех их увидишь в Сиверской. Жалованье тебе будет десять рублей в месяц. С питанием. А к праздникам — к Пасхе и к Новому году — прибавка, и ко дню твоего рождения. Так, Катюша, у нас положено. Всю необходимую одежду мы тебе сами купим. А сейчас отдыхай. Тете твоей я позвоню, не волнуйся.

— У Мельтцеров я прожила счастливо почти шесть лет, до конца 35-го года, — продолжает мать свой рассказ. — Тamarочка очень ко мне привязалась, да и вся семья. С хозяином, правда, я почти не общалась, да и когда? Уже в семь утра за ним приезжал его шофер и возил его в Чудово, на его завод, а привозил очень поздно. Так что я общалась преимущественно только с хозяйкой. Она, конечно, не работала, но давала уроки игры на фортепьяно деткам своих знакомых, и делала это, надо сказать, совершенно бесплатно, для собственного удовольствия.

У Александры Львовны научилась я еврейской кухне. И через год уже понимала их речь между собой, а вскоре и сама заговорила на их языке. Александра Львовна и Вениамин Захарьевич с сыновьями часто брали меня с собой в театры, на концерты. Первоначально я надевала туда Фридошкины платья, но к Новому году мне подарили платье из панбархата, глубокого лилового цвета, и модельные туфли, и шубку из серого кролика. Я ведь уже барышней стала. У Мельтцеров была большая домашняя библиотека. Уложив Тamarочку, я стала много читать. Через день ходила в вечернюю школу, и Фрида занималась со мной русским и математикой. А по воскресеньям, когда у хозяина было настроение, он требовал, чтобы я читала ему вслух заданные мне в школе упражнения по немецкому. Ему очень нравился мой вологодский выговор, поэтому он редко поправлял меня в немецком произношении, делая упор на грамматику. Еще помню, — добавляет мать, — что когда в Ленинград из Москвы приезжала знаменитая пианистка Мария Юдина, она всегда или останавливалась у Мельтцеров, или непременно их навещала. И тогда в нашу большую столовую набивались люди — послушать Юдину. И в ее честь устраивался ужин для узкого круга. Из знаменитых тогда писателей у нас бывали Зощенко, Маршак, профессора Эйхенбаум и Тынянов. Для них Юдина играла Шопена, еще кого-то. Шумных застолий у нас никогда не бывало, но принимали всегда достойно. Для помощи на кухне Александрой Львовной всегда приглашалась моя тетя Сима. Она пекла к чаю замечательные пироги с капустой и сладкие — с яблоками вперемешку с брусникой. Александра Львовна умела печь только плюшки и печенье с корицей. А пироги не умела. Поэтому и я не научилась. Тете Симе-то не до пирогов было.

Читать и писать я выучилась за одно лето в Сиверской, — продолжает мать. — И там же начала читать моей Тamarочке журналы “Ёж” и “Чиж” и сказки, конечно. Эти детские журналы были очень забавные, с великолепными рисунками, и цветными, и черно-белыми. В них было много стихов. В Сиверской Мельтцеры снимали большую дачу, и часто к ним из города и из Луги приезжало много гостей. На дачу вывозился рояль Александры Львовны, она продолжала давать уроки детям дачников и сама играла для гостей. Играла она изумительно. Лето 34-го было жарким, почти без дождей. От жары трещали сосны, и только вода в коварной Оредежи постоянно оставалась студеной и для

купаний не всегда подходящей. В город мы возвращались самыми последними, уже в начале сентября.

Жизнь представлялась мне прекрасной и счастливой. У меня даже получалось из скопленных денег посылать два раза в год родителям в деревню. Но в самом конце 34-го нагрянула первая в моей жизни беда.

Как известно, 1-го декабря в пятом часу пополудни убийца Кирова, некто Николаев, проник в Смольный. И, если цитировать классика, “и всё заверте” (цитата из Аверченко).

С убийства Кирова в стране начинается пресловутый Большой Террор. По городу прокатываются волны арестов и судебных политических процессов. С особой тщательностью Наркомвнудел выявляет “уцелевший элемент” и “социально-опасных”. В декабре 1934 года ЦК ВКП(б) рассылает по стране знаменательное Письмо, озаглавленное “Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова”. Содержание письма сводилось к призыву выявлять и арестовывать не только всех бывших оппозиционеров, но “и вообще всех”. Катюша оказалась в их числе. И вот каким образом.

В.З.Мельтцер, являясь директором стекольного завода в Чудове, что под Ленинградом, в партии не состоял, но был ценен как большой специалист по усовершенствованию “лампочки Ильича”. Но то ли не везде и всюду лампочка эта достаточно ярко освещала будущее счастье человечества, то ли свет ее лился не на те предметы. И уже в декабре Вениамина Захарьевича стали “дергать” на Литейный, чуя в нем потенциального вредителя.

На предмет вредительства В.З.Мельтцер допрашивался там неким Перельмутером — фигурой в тогдашнем НКВД-ОГПУ известной. Но выпускался дней через пять-шесть, как свидетельствует моя мать, “в сильно расстроенных чувствах”. Когда хозяина уводили, Александра Львовна всякий раз восклицала: “Кошмар!” И на неделю затихала. А когда Вениамин Захарьевич возвращался домой, она, ужасаясь его виду, тоже восклицала: “Кошмар!”

Быть может, потому, что Перельмутер не получил от Мельтцера желаемого результата, а возможно, и за иные заслуги, но в 38-м его из следственной работы “вывели”. Я обо всех этих подробностях узнал только в 1989 году в Америке от “Тамарочки” — от Тамары Борисовны Мельтцер-Бауэр, преподававшей в одной из музыкальных школ Бостона.

По движению гениальной мысли “отца народов и друга пионеров”, — замечает все тот же Р. Конквест, — “убийство может организовать любой, а вредительство должно вестись работниками промышленности, инженерами или, во всяком случае, людьми, имеющими доступ к соответствующему оборудованию” (т. 1, с. 233). Так что перед самой войной Вениамина Мельтцера все же посадить удалось. На десять лет без права переписки. Случилось это в декабре 1939-го. Впрочем, вернемся в год 34-й.

Именно тогда в больших городах Советского Союза стала вводиться сплошная паспортизация населения. Беспаспортных надлежало “высылать на 101-й километр или по месту их происхождения”.

Тетя Сима жила в доме № 7 и была навещаема племянницей каждое воскресенье. Квартуполномоченным в квартире тети Симы был “революционер Галошин”, как он сам себя называл. Галошин был отцом большого семейства и испытывал необходимость в расширении жизненного пространства. В этом смысле он “положил глаз” на вторую 10-

тиметровую комнатку тети Симы. Но так как ее муж был инвалидом Гражданской войны (у него ампутировали правую ногу), просто так “сковырнуть” героя было все же мудрено. И “революционер” сообразил написать “куда следует” заявление, в котором указал, что “гражданка Макарова С. Т. укрывает у себя племянницу — дочь вологодского подкулачника. Прошу принять меры”.

Оперативно-розыскные мероприятия начались мгновенно. О них Александре Львовне, уж неизвестно, по каким причинам, сообщил дворник Антип, совмещавший, как и все дворники тех лет, поливание бульжной мостовой не только с натиркой паркета “в господских домах”, но и с милицейскими контактами. Вооружившись — для конспирации — “полотерным инструментом”, Антип позвонил к Мельтцерам и сообщил Александре Львовне буквально следующее:

— Прячьте, барыня, девку-то. Девка-то больно хорошая. Жалко ею всю. — Антип был из наших, из вологодских. — В деревне она с голоду помрет. Уж и у нас ввели карточки. Поняли? А что я у вас был, об том молчок. Поняли?

Мельтцеры были понятливы от природы. Александра Львовна сообщила своим, не входя в подробности, что “Катенька поехала в деревню навестить родителей”. А сама соорудила ей на чердаке теплое спальное место, куда нанесла тулуп и шубу, книжки и тетрадки и где приладила пресловутую лампочку. О мерах по утайке Катюши знали только три персоны: Сара Соломоновна Шехтман из соседней с Мельтцерами квартиры, Фира Абрамовна Замуилсон из кв. № 3 да еще домработница Нюра. Нюре тайна была доверена “по техническим причинам”: она была с рождения глухонемой. Она и носила на чердак Катюше провиант, меняла ей простыни и наволочки, как у Мельтцеров было заведено, каждые пять дней.

О тогдашних чердаках Ленинграда надо говорить стихами. В своем первоначальном виде они сохранились до конца 60-х. Чердаки закреплялись за каждой квартирой, имевшей от них свой ключ и свои замки. На этих чердаках сушилось белье, там хранились соленья и маринады, вышедшие из употребления вещи домашнего обихода, запасы картофеля, моркови, мешки с сахаром, бутылки с настойками. Мне вспоминаются запахи, ароматы этих чердаков, по стенам которых висели гирлянды украинского лука, лавровые венки, ветки сушеной черемухи и облепихи... Ах, забыл! Были еще кульки с сушеной малиной. Вся эта продукция охранялась жирными котами, поднимавшимися на чердаки по черным лестницам угоститься не тощими мышами. Ни о каком воровстве не могло быть и речи. Зимой от кирпичных дымоходов по чердакам разливалось тепло, уходившее медленно-медленно по кирпичным трубам в черное ленинградское небо. Так что жить можно было и на чердаках. Современный бомж даже и мечтать не может о таком блаженстве.

— Я на своем чердаке только очень скучала по Тamarочке, — вспоминает мать. — Нюра исправно приносила мне туда горячий завтрак и обед. А ужинала я как когда. Был бы хлеб, остальное под рукой было. Еще Нюра приносила мне молоко, которое к нам на Столярный доставлялось нашей молочницей-финкой из Лахты через день. Так продолжалось полгода. Потом все как-то рассосалось. А Галошин, между прочим, попал на углу Садовой и Гороховой под трамвай. Я тогда, помню, очень плакала.

Весной 1935-го родители Тamarочки почему-то уехали в Севастополь. Надобность в няне отпала. Услугами домработницы Александра Львовна почему-то не пользовалась, все делала сама, да и не хотелось ей преобразенную “Ежом”, “Чижом”, Шопеном, балетом и оперой девушку “держат при кухне”. Заводские дела Вениамина Захаревича тоже начали складываться не в его пользу. Отсутствие прислуги, казалось Мельтцеры-

старшему, как-нибудь сблизит его с пролетариатом и отведет внимание ОГПУ. Чем все это закончилось, мы уже знаем. Тут “подвернулась” Сара Соломоновна Шехтман — соседка Мельтцеров по лестничной площадке. Она и попросила разрешения у Александры Львовны взять к себе девушку в качестве... “Позже мы с Катюшей определимся”, — сказала “мадам Шехтман”, и Катюша прожила в семье Шехтманов до конца 1941 года.

Я намеренно даю имя “Сарра” в транскрипции моей матери — с одним “р”. Моя мать считает, что всем нам необходимо сохранять верность Первоисточнику. А там — между прочим — сказано: “И Сара была неплодна и бездетна” (Бытие, гл. 11, стих 30). Ибо Сара Соломоновна и муж ее Семен Аркадьевич были бездетны и содержали двух сирот-племянников, привезенных ими в Ленинград в конце 20-х из маленького городка под Одессой, который почему-то — по воспоминаниям матери — назывался Бордо. Оба они — Самуил и Веня — погибли в первые дни войны на Невском пятачке. У моей матери хранится их общая фотография 36-го года. На ней — на фотографии — изображены два симпатичных молодых человека в строгих костюмах и в галстуках по моде тех замечательных лет. На фронт они ушли с народным ополчением восемнадцатилетними мальчиками “из приличной еврейской семьи” (Сара Соломоновна). Не сомневаюсь, что Веня и Самуил погибли “за Родину, за Сталина”, но прежде всего — за Россию. И забыть об этом невозможно.

Сара Соломоновна родилась 1 января 1900 года в мало кому известном Бордо, в 17-м — под музыку революции — вышла замуж. Это и многое другое позволяло ей сказать в конце 80-х: “Весь XX век у меня как на ладони”.

Муж Сары Соломоновны был, как она выражалась, из интеллигентных. Он закончил политехнический и был лет на десять-пятнадцать старше своей супруги. Мать говорит, что Семен Аркадьевич был типичный “подкаблучник”, жену свою любил до умопомрачения, в жизни своей знал и ценил только дом и работу, никогда ни во что не вмешивался и Сару Соломоновну — женщину крупную, низкоголосую и яркую во всех отношениях — называл всегда только “птичкой”, особенно в минуты, когда та на него “наезжала”. А “наезжала” Сара Соломоновна на всех, или почти на всех, потому что в ее высокой груди постоянно “клокотало чувство справедливости”.

Первоначально всю свою любовь и нежность она выплеснула на своих сирот-племянников — Веню и Самуила. В 1945 году на свет появился я. Мне кажется, я был единственным существом в ее мире, для которого не существовало слова “нет”. Мне было можно все. Маленький, я катался на ней верхом, когда забирался к ней в постель; широким гребнем расчесывал ее красивые волосы, поливал ее “Красной Москвой” из толстого флакона или бутылочкой “Пиковой Дамы”, даже красил ярким красным лаком ногти на ее пухлых, убранных дорогими кольцами руках. В моем детстве ее окружала детвора Мельтцеров, Замуилсонов, Сапотницких, но я чувствовал и знал ее слабость ко мне и всячески отгонял от нее “прочую мелюзгу”. Дело доходило до ссор и скандалов, как это бывает в еврейских семьях — шумных, словообильных, но — как это бывает только в еврейских семьях — еще сильнее сплывающих и объединяющих человеческий род.

По профессии Сара Соломоновна была машинисткой. Овладев этим искусством, первоначально она обслуживала какие-то учреждения. Но в силу своего южного темперамента и таланта ставить людей, не взирая на чины и лица, на их истинное место, из всех учреждений была поочередно увольняема. Поэтому она перешла на надомный труд, и по протекции Александры Львовны Мельтцер долго числилась за Литфондом и Театром Комедии.

Это она, когда мне едва минуло пять или шесть лет, научила меня “печатать” на своем чугунном “Ундервуде” пару-тройку матерных слов. Кто-то из Мельтцеров, застав нас за этим занятием, пришел в ужас: “Сара, вы сошли у ума!”.

— Я? — возмутилась Сара Соломоновна. — Ничего подобного! Это они сошли с ума. “Мама мыла раму” — это же неприлично. Мальчик должен знать свой национальный язык. Он поможет ему во дни сомнений. — И, обернувшись ко мне: — Пиши “по-шли вы все на...”. Правильно. Только это слово пишется без мягкого знака. Желателен твердый.

Сара Соломоновна была моим первым университетом, потому что еще она познакомила меня с азами астрономии и географии одновременно: “Земля — это планета. В виде глобуса. А теперь найди мне... Одессу и Черное море. Нашел? Нет, деточка, это уже Африка. Ближе, ближе... Мазлдоф! Нет, это тоже не Одесса. Это Колыма”.

В 1942 году Семен Аркадьевич, будучи начальником цеха на каком-то оборонном предприятии, вместе с заводом и супругой эвакуировался на Урал. В Ленинград Сара Соломоновна вернулась только в 47-м уже вдовой. Их квартира на Столярном была разграблена и разорена, как, впрочем, и квартира Мельтцеров, Замуилсонов и Сапотницких. Нюра, тетя Сима, дворник Антип, все семейство Галошиных — все они померли в блокаду от голода. Тетушку свою мать сама отвезла к Аларчину мосту, в один из дворов на Маклина, где трупы складывались в штабеля и постепенно увозились или в крематорий, или на Пискаревку.

Перед эвакуацией на известном чердаке, под руководством Сары Соломоновны, руками моей матери была надежно спрятана маленькая корзиночка с кое-какими камешками и золотыми украшениями: “Это все, что удалось мне вывезти из Бордо вместе с племянниками. Все эти штучки нажил мой папа, торгуя немецкой мебелью и русскими мехами для Константинополя еще до революции. В 18-м его расстреляли, но я была уже в Петрограде. Мою маму и брата постигла та же участь в 21-м. Вы, деточка, присматривайте за корзиночкой. Война, я думаю, скоро кончится. И мы с вами заживем прежней жизнью”.

Поскольку по молодости лет моя мать эвакуации не подлежала и все 900 блокадных дней, пока были силы, тушила зажигалки на крышах и выезжала на рытье окопов, а как силы кончились, провалилась во вшах, она эту корзиночку сберегла. И в 47-м вручила хозяйке. Содержимое корзиночки и помогло Саре Соломоновне вернуться к жизни. И не только ей одной. “Брюлики” поставили на ноги и нас с матерью.

Перед самой войной мать с отличием закончила вечернюю школу и все свое свободное от обслуживания “мадам Шехтман” и ее мужа время посвятила, как это было принято среди молодежи тех лет, занятиям спортом: целыми днями пропадала на стадионе “Динамо”, где упражнялась в преодолении всяческих препятствий и взятии посильных высот. День 22-е июня — день объявления войны — мать тоже встретила на стадионе, как она говорит, “в одних трусах”. Говоря короче, за успехи в школе и спортивные достижения, за молниеносную готовность к труду и обороне Комитет комсомола Октябрьского района выделил матери 6-метровую комнатку в доме на Большой Подъяческой в до того уже уплотненной коммуналке. В этих шести метрах мать пережила блокаду, в эти шесть метров принесла из роддома свою двойню — меня и моего братика Юрочку. В этих метрах прожили мы долго. Из этих шести метров я пошел в 1-й класс, а в 64-м ушел в армию, в них из армии и вернулся. Но тут вмешалась Сара Соломоновна, умудрившаяся как-то и чем-то нажать на О.Ф.Берггольц, у которой я какое-то время секретарствовал, и мы расширились до 13-ти метров все в той же квартире.

1947-й год в Ленинграде — это все еще год продовольственных карточек, когда буханка ржаного хлеба в коммерческих лавках у Троицкого собора стоила сто рублей, о прочем — страшно подумать. В один из дней того года уже грузная, с венозными ногами, Сара Соломоновна поднялась на наш третий этаж с двумя большими сумками:

— Соседи у вас, деточка, конечно, сволочи, — сделала открытие Сара Соломоновна. — У вас, деточка, ребенок кричит, вы могли и не услышать. А они — будто обыска ждут, попрятались, а теперь, пока мы шли по коридору, рожи высунули. Какие, бляди, любознательные, однако.

Отдышавшись, выпив каких-то капель и выкурив свою “Звездочку” (были тогда такие папиросы с мотоциклистом на пачке), Сара Соломоновна предъявила матери содержимое своих сумок:

— Вот вам кура, колбаса, маслище, сахар, крупы и сухое американское молоко. Сейчас я вас, деточка, научу, как его разводить.

— Сара Соломоновна, — изумилась моя мать, — откуда такие сокровища?!

— Из тумбочки, деточка. Вы, пожалуйста, не сильно волнуйтесь, ибо всюду уши. И вот тут еще детские принадлежности. Их мне для вашего мальчика передали Сапотницкие. — И взглянув на меня, уже двухгодовалого (Сара Соломоновна видела меня впервые), все еще сморщенного и красного, добавила:

— Мальчик получился хорошенький. Кого-то он мне напоминает... Ишь, какой глазастый и лобастый. О смерти его братика, деточка, я уже знаю от Инночки Сапотницкой. Умница, что этого сохранила. В этих шести метрах с окном на помойку жить никак нельзя. И кухня эта ваша коммунальная рядом — звуки, запахи... Может, ко мне переберетесь? Нам хватит одной моей комнаты, она ведь большая, в остальных живут Зильберы, вы их знаете. Их дом на Васильевском разбомбило, так они теперь у меня живут, всей семьей. И скажите, деточка, на что вы существуете?

— У меня по второй группе пенсия и получаю пособие на ребенка, пять рублей, как мать-одиночка.

— Сколько пенсия?

— Сто рублей. Но я еще в дворниках по ночам. Ребенок при мне в саночках под аркой, его в ясельки не берут по слабости здоровья.

О том, что мой отец (тайна которого мне открылась только в 90-х), капитан медицинской службы, погиб 9-го мая 1945 года в Берлине, от снайперской винтовки, Сара Соломоновна уже знала. Она и вообще о многом знала, потому страдала бессонницей. Переезжать к Саре Соломоновне дорожившая своими шестью метрами мать отказалась, хотя большую часть моего детства я все же провел на Столярном, где Сара Соломоновна взяла на себя обязанности моей гувернантки.

— Еще, деточка, мне надо подумать насчет вашей работы. Пожалуй, я вас пристрою в шляпную мастерскую к Абраше. Это возле Покровки, сразу за Крюковым каналом, чуть вперед, через Лермонтовский. Теперешние модницы в концерты в трофейных ночных рубашках шелковых ходят, так им без шляпок никак нельзя. Заработок мы вам придумаем. Всё. Я пошла. Дайте я вас поцелую. Зайду на неделе. С соседями-сволочами будьте

осторожны, о шляпках никому ни слова.

На фоне оставленного нам тогда Сарой Соломоновной провианта и безмерной наивности тогдашней моей матери мне сейчас вспомнились слова нашего гениального антисемита В.В.Розанова: “И денег сунешь, и просишь, и все-таки русская свинья сделает тебе свинство” (1912). И вот почему.

У наших соседей по квартире, мужа и жены Бойковых, был туберкулез в открытой форме. По душевной своей простоте моя мать угостила их “чем Бог послал” — отрезала полкурицы и отсыпала крупы. В ответ услышала их украинское “спасибочки”. А утром следующего дня ее вызвали во 2-е отделение милиции — оно и сейчас располагается рядом с пожарной каланчой на Садовой. Там натурально заинтересовались, “откуда у дворничихи-инвалидки”, как они выразились, “куры, шуры и муры”. Откуда? Мать, будучи комсомолкой и спортсменкой, врать не умела, да, кажется, и теперь не научилась, и сказала им “все как есть”.

Слава Богу, на дворе стоял не 49-й с его обостренной борьбой с “безродными космополитами”, дело “врачей-отравителей” еще только вызревало в ночных кремлевских кабинетах, а только еще 47-й. Власть еще не вошла во вкус, и звериный антисемитизм не стал еще государственной политикой. Сару Соломоновну не тронули и никуда не вызывали. А моей матери милицейский чин — видимо, не из самых скверных — сказал:

— Вам, гражданочка, в людях пора бы разбираться и всякую гадину курями не кормить. Вам медаль “За оборону Ленинграда” не зря дадена была. Ясно? И “За доблестный труд”. Ясно?

В тот же день, прихватив меня, мать побежала на Столярный и все там рассказала. Настороженность Сары Соломоновны сменилась на ее бесподобный смех:

— Как, как вы им сказали — из тумбочки?! Гениально! Впрочем, с властями шутить не рекомендую. Если вы, деточка, на своем примусе следующих курей варить станете, “тумбочкой” не отделаетесь. Или у меня живите, или с Геночкой к нам обедать приходите. Третьего не дано. Кстати, пока вы там шляпки обрабатываете, мальчик у меня вполне пасться может. Худому я его не научу, слава Богу.

По утрам и на ночь мать варила мне “кашу” на электроплитке (газ нам подвели только в конце 48-го), но Бойковы изловчились отрезать электропроводку. Мать снова к Саре Соломоновне:

— Что делать?

— А кто виноват? Не мучьте дитя, мадонна! Отдайте его в хорошие еврейские руки. Худому я его не научу, слава Богу. Ступайте. Вас ждут шляпки и Абрам Моисеевич. Удачи!

После прогулок в Юсуповом саду Сара Соломоновна водила меня в шляпную мастерскую, на свиданье с моей матерью. Все были довольны.

По такому случаю Мельтцеры снабдили “мадам Шехтман” комплектами “Ежа” и “Чижа”, присоединив к ним и “Ниву” за весь 1906-й год. Сапотницкие нанесли игрушек. Замуилсоны — кровать и коляску (я начал ходить только в три года). Старые жильцы Столярного переулка и Гражданской улицы, знавшие Сару Соломоновну еще по ее

привязанности к погибшим племянникам, спрашивали ее:

— Вы что, мальчика усыновили?

— Нет, — гордо отвечала им Сара Соломоновна. — Я его уматерила. Вас такой вариант устраивает? — И толкая перед собой коляску, продолжала движение в избранном направлении. Единственным местом, куда Сара Соломоновна никогда со мной не ходила, была детская поликлиника на Крюковом канале. Она располагалась в старинном здании XVIII столетия, где некогда жил Суворов, а в годы блокады туда свозились трупы со всего района и производилась дезинфекция дистрофиков. По этому поводу она говорила моей матери:

— Как хотите, деточка, но мне там не выдержать. Я, конечно, не испытала ваших страданий и всех ваших ужасов. Возможно, поэтому мне там не выдержать. Вы уж меня простите. И пока меня там осматривали, взвешивали и измеряли, подозревая в дефективности и умственной отсталости (я почти не говорил и никогда не плакал), Сара Соломоновна ждала нас, прогуливаясь по Крюкову до Фонтанки и обратно. Когда до нее донесся слух о моей предполагаемой дебильности, она нашла в себе силы войти в здание поликлиники и учинила там “форменный скандал”:

— Наш ребенок не может быть идиотом! Его мать защищала Родину, Ленинград! Она стояла на баррикадах! Отец ребенка пал смертью храбрых в самом логове фашизма — в Берлине, в День Победы! Я буду жаловаться! Вы не имеете права!

Много позже, когда у меня возникла необходимость выучить таблицу умножения, в пятом, кажется, классе, а таблица все никак не выучивалась и Сара Соломоновна уже совершенно выбилась со мной “из последних сил”, она — между прочим — заметила:

— Геня, мне говорили, что ты идиот. Но не до такой же степени! Если к вечеру мне не будет всей таблицы, утром я выброшу твоего котенка к чертовой матери. Выбирай.

И таблица сама собой выучивалась, потому что котенка мне было жалко: я только вчера приволок его со двора.

В школу я пошел в 1953 году — в год смерти Сталина. Но в марте я все еще обретался в шляпной мастерской — прыгал между шляпных столов и болванок на деревянном коне о четырех колесах. Включили радио. Сообщение ТАСС. Все работницы рыдали. Вошел Абрам Моисеевич, директор этой мастерской, взял меня за руку и увел “от греха подальше” на Столярный. Помню, на углу проспекта Майорова (нынче вновь Вознесенской улицы) и у бани на канале Грибоедова возле, как это тогда называлось, громкоговорителя стояли люди — мужчины и женщины, детей я не заметил — и плакали навзрыд. Я тоже плакал, потому что меня уводили от плачущей мамы. Шли мы довольно быстро, я за рослым дядей Абрашей едва поспевал, и он больно тянул меня за руку. Шли мы молча.

Через час-другой, вся в слезах, на Столярный прибежала моя мать. Сара Соломоновна и Инночка — ее родственница и подруга моей матери еще с их юности — фаршировали щуку. Зильберы играли на кухне за большим столом в карты. По радио транслировали похоронную музыку. Мою мать изумило отсутствие слез:

— Почему вы не плачете?! Все плачут! Вся страна! Такое горе! — Гробовое молчание. Я тоже уже не плакал. Я кушал гоголь-моголь. Моя мать повторила свои вопросы уже на

границ истерики.

— Потому что мы только что пописали, — нарушила всеобщее молчание Сара Соломоновна. — Рыбу ждать долго. Поешьте, деточка, творог со сметаной.

Я кидаюсь к плачущей матери и тоже обливаюсь слезами. Мне почему-то кажется, что мою мамочку только что кто-то обидел. И Сталина мне тоже почему-то становится жалко. По детскому саду, куда я одно время ходил, пока Сара Соломоновна ездила в свой Бордо, а меня оставили на Сапотницких, я помнил, что после каждого завтрака и обеда (к ужину меня уже брали) мы, встав из-за стола, дружно произносили: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!”. Наша воспитательница просила меня слово “товарищ” произносить “только губами”, “одними только губами”, потому что я долго не выговаривал букву “р” и у меня получалось “как-то не так” и я “портил ансамбль”. Сказалось, я думаю, влияние Сары Соломоновны, которая “на нервной почве” тоже не выговаривала эту проклятую букву. Меня даже водили к логопеду — к доктору Бернштейну М.Я. Когда и из этого ничего не получилось, Сара Соломоновна сказала:

— Логопед с такой фамилией — это катастрофа! У Гени будут серьезные проблемы. Отведите его к доктору Петровой.

— Она, Сарочка, кожник, — возразил Абрам Моисеевич.

— Ведите к кожнику. С чего-то ведь надо начинать. Абрам, вы не понимаете серьезности момента. Геню и так все во дворе обзывают “гоох”. Вы ждете варьантов?

— Вообще-то, Сарочка, я жду Софу. Мы должны ехать на дачу. Но если вы хотите, пожалуйста. Я пойду к Петровой. Или к Сидоровой. Мне уже все равно. Между прочим, у мальчика есть мать.

— Его мать в вашей мастерской делает вам деньги. Работает в две смены, — твердым голосом напомнила Сара Соломоновна Абраму Моисеевичу, кому он обязан своими дачей и только что купленной новенькой “Победой”. — У вас нет сердца!

— У меня нет сердца? — возмутился дядя Абраша. — У меня нет сердца?! — И найдя меня в дальних комнатах, мигом меня во что-то одел и, спустившись на улицу, сунул в свою “победу”. Мы поехали к... Нет, мы поехали не к докторам, а в зоосад, где я был накормлен мороженым, пирожками с повидлом, напоен газировкой. Простудив горло, я уже не выговаривал десятка согласных русского алфавита. Когда мы вернулись и Сара Соломоновна услышала, **как** я теперь говорю, она негодовала:

— У ребенка температура! Но этого мало! Вы послушайте, **как** он теперь говорит! Так не говорят даже в синагоге! Где вы были?

— В зоосаде, — признался я.

— Оказывается, Абрам, у вас нет не только сердца. У вас нет ума. Нет, нет! Не подходите ко мне! Что я скажу его матери?! Быстро — горчичники, на всякий случай клистир. И никаких игрушек.

— Мы можем ехать на дачу? — поинтересовался Абрам Моисеевич.

— Я же сказала: не подходите ко мне! Изверг!

На следующее утро я проснулся как ни в чем не бывало. Клистир, правда, не состоялся, но игрушек я не получил. Речь восстановилась, но без желаемой буквы. Полчаса Сара Соломоновна со мной не разговаривала.

— Ты здоров? Дай я тебя поцелую! — прозвучало за завтраком.

По случаю моего выздоровления мне было выдано большое красное яблоко, и Инночка, возившаяся со мной накануне, дала мне шоколадку. О моей “болезни” моя мать так никогда и не узнала.

К началу 50-х моей матери удалось “перетащить” в Ленинград своих сестер — моих теток, которые первоначально жили по общежитиям завода “Красный Треугольник”, а вскоре — не без вмешательства Сары Соломоновны — были удачно выданы замуж за бравых курсантов военных училищ, с которыми и укатили в военные округа страны. Дедушка с бабушкой остались одни в деревне и очень заскучали в одиночестве. Только летом 56-го они впервые приехали в Ленинград. В нашей шестиметровке разместить их не было никакой возможности — спать надо было или на полу, или всем троим на узкой железной кровати. Даже раскладушка, которой, кстати, у матери не было, не помещалась; я всегда спал на стульях. Как быть? Обращаться к Саре Соломоновне по этому поводу матери не хотелось. Она как бы стеснялась показать им своих деревенских родителей. О приезде моих бабушки и дедушки Сара Соломоновна узнала, конечно, от меня. Она тотчас дала ценные указания все тому же Абраму Моисеевичу:

— Абрам, срочно поезжайте на Подъяческую и привезите сюда Катюшиных родителей. Выделите им свою комнату со всеми причиндалами. — Абрам Моисеевич молча слушал.

— Свежее белье, махровые полотенца, туалетное мыло, зубной порошок...

— Сарочка, какой порошок! Старикам уже после 70-ти,— не выдержал Абрам Моисеевич.

— И потом, где будет спать моя Софа? У нее печень.

— Жрать меньше надо. Далее. Продукты все с рынка. Только с рынка. И купите две “Столичных”.

— Зачем две? — поинтересовался Абрам Моисеевич.

— Я еще не умерла, между прочим. А вот икры не надо. Вместо икры купите... жирных селедочек. Я их нарублю. Торт тоже не надо — испеку “наполеон”. Кстати, ваша Софа испечет печенье, к чаю.

— К какому чаю?! Какое печенье! Софе завтра на работу.

— А кто ей дал эту работу? Советская власть? Товарищ Каганович ей дал эту работу? Я вас спрашиваю, кто дал вашей Софе эту работу? — На слове “эту” Сара Соломоновна почему-то особенно настаивала. — Молчите. Вы почему-то всегда, когда вас спрашивают, молчите.

— Я не молчу, Сарочка.

— Я вас и не спрашиваю. Делайте что должно и будет что нужно.

— А что нужно? — спросил уже совершенно обалдевший Абрам Моисеевич.

— Нужен результат, Абраша, — уже в более спокойных выражениях продолжила Сара Соломоновна, из всего своего окружения любившая Абрама Моисеевича, после меня, кажется, сильнее всех на свете. Его и в самом деле нельзя было не любить. Он был человеком неизъяснимой доброты. Великодушия, покорности и, я бы сказал, чудаковатости. В своей шляпной мастерской он был не только ее директором, но и ее уборщицей. Он туда приезжал самым первым, затем куда-то на весь день уезжал, возвращался в конце дня и, выпроводив работниц (он называл их барышнями), брался за швабру, тряпку и ведро с обжигающим руки кипятком — и начинал уборку двух маленьких цехов. Живя под крышей Сары Соломоновны со своей Софой — она занималась зубоврачебным делом, что для женщины в те годы было редкостью, — в доме он сибаритствовал. Софья Давидовна его почти не обслуживала. Всем этим занималась Сара Соломоновна. Он “зарабатывал на хлеб”. Софа — на масло и на то, что можно на него положить за завтраком, обедом и ужином. Их дети жили в Москве: дочь играла в оркестре Большого театра, сын служил в ведомстве Кагановича. В Ленинграде они почти не бывали.

— Катюшины родители будут здесь целый месяц. Вы в это время будете жить у Сапотницких, или у Замуилсонов, или у Мельтцеров. Я уже обо всем договорилась. Или лучше живите на даче. Сейчас там как раз зацветает жасмин и сирень.

— Нет, мы уж лучше у Мельтцеров, — согласился Абрам Моисеевич и мигом выехал на Подъяческую.

Для моей матери его визит и приглашение старикам от Сары Соломоновны явилось полной неожиданностью. Она начала что-то невнятное говорить Абраму (с ним мать уже давно была на “ты”) о могущих возникнуть неудобствах для их семейств. Но Абрам Моисеевич был непреклонен: “Катюша, ты же знаешь Сару. Если она говорит, значит это кому-нибудь нужно”.

Начнем с того, что моих вологодских дедушку и бабушку я и сам видел впервые в жизни, и они мне сразу понравились. Дед — своей подслеповатостью, глухотой, крохотным росточком, сухопаростью, постоянным обращением к висевшим у нас образам и молитве перед едой. Бабушка — своей кротостью и сказками, которые она рассказывала мне, уже большому мальчику, так, словно я все еще “лежал в люльке и сосал дулю”.

В их деревенском облике более всего меня поражали их крайняя бедность и стеснительность, а в манерах — после вечной суеты и шума в доме Сары Соломоновны — удивительное спокойствие и достоинство. Бабушке мать сразу же “справила” черную бархатную куртку, в каких ходила тогда вся женская половина России, и красивый шерстяной платок крупными алыми цветами, а деду — яловые сапоги и добротное зимнее пальто с мутоновым воротником (дед с себя это пальто не снимал и в июне). И новый картуз военного образца, защитного цвета. Увидев моего дедушку в этом картузе, за полвека до Аллы Пугачевой, Сара Соломоновна произнесла ныне знаменитую фразу: “Настоящий полковник!”.

В “победах” мой дед с бабкой никогда прежде не катались, привыкнув к лошадям и телегам, а зимой к саням, в которых дедушка ездил в лес по дрова. “Столичной” они тоже никогда не пили, рубленой селедкой не закусывали, столового серебра в руках не держали. В Ленинград дедушка привез — в подарок дочкам — своего производства деревянные ложки и поварешки, и очень красивых им же изготовленных воздушных журавлей (они и теперь летают, подвешенные к потолкам комнат в моей новой квартире).

Помотавшись в годы эвакуации по стране: Пермь, Златоуст, Нижний Тагил, Челябинск, — Сара Соломоновна получила все необходимые ей представления о жизни России, об укладе русской жизни, о русском характере и, если угодно, о “русской национальной идее”. Впоследствии точность ее характеристик, наблюдений и умозаключений поразили меня полным совпадением с тем, что прочитал я по этому поводу в книгах Н.Я.Мандельштам. “Кто я такая, видно невооруженным глазом, — говорила мне Сара Соломоновна, — но ни разу никто в эвакуации не отшатнулся ни от меня, ни от моего мужа, никто ничем не оскорбил из русских людей. И эта полнота русской жизни в самой ее глубине, русского простодушия и лукавства и русской помощи, когда муж заболел в Нижнем Тагиле, — все это заставило меня посмотреть на жизнь совсем другими глазами, хотя и до того я кое-что в жизни понимала”.

Для принятия гостей стол был накрыт “по-простому”. Вся посуда была повседневной, и сервизы на стол не вытаскивались. Столовые приборы исключали ножи и были навалены на поднос. Исключением была белоснежная скатерть, положенная поверх клеенки, и немислимая прозрачность хрусталя. Стол был накрыт, конечно, в столовой — громадный раздвижной стол, за которым в добрые времена помещалось более двадцати персон. Помню, помогавшим Инночке и Софе Сара Соломоновна говорила: “Гости не должны испытывать неловкостей. И снимите с себя все побрякушки! Наденьте простые платья. И этот ваш вульгарный маникюр! В таком виде надо торговать рыбой на Привозе. Что о вас подумают **люди?!!**”. Надо сказать, что сама Сара Соломоновна обожала яркость. Она всегда красила губы “морковной помадой”, к чему приучила и мою мать. Никогда не снимала с левой руки толстое обручальное кольцо, а с правой — ввешуюся в мякоть пальцев бриллиантовую маркизу с крупным сапфиром. Только в ушах она никогда ничего не носила: “Уши женщины созданы для восприятия шума времени. Серьги им мешают”. В самом начале 60-х Давид Яковлевич Дар в Комарове показал мне — издали — А.А.Ахматову. Она шла по Озерной улице в сторону почты. Ну натуральная Сара Соломоновна Шехтман!

Дедушка за столом сразу “опрокинул” два стакана (не русских граненых, а немецких хрустальных) “Столичной” и трижды крякнул: “Хороша, мать ее дери”. Бабушка пила водку “рюмочками”. Закусывать они или стеснялись, или у них принято не было — я уж не знаю. Помню только, что к “помидорчикам” они не притронулись, поскольку впервые в жизни их видели и, кажется, боялись брать в рот.

— Пожалуйста, кушайте, — просила Сара Соломоновна. Но дед был глуховат, поэтому тихонечко спросил: “Чайво?”. И потянулся к следующему стаканчику. Водку ему — и себе — подливал Абрам Моисеевич, любивший всякую выпивку. Вторую бутылку “Столичной” Сара Соломоновна благоразумно придерживала возле себя и пила наравне с моим дедушкой. “Девушки” — Инночка и Софа, и все Мельтцеры — пили “ситро”, а мне наливался клюквенный морс. Мать моя пила водку вместе с бабушкой — рюмочками.

Сара Соломоновна курила свою “Звездочку”. А дед потянулся скрутить свою “козью ножку” со своим самосадом. Абрам Моисеевич предотвратил эту катастрофу и предложил деду “Казбека”. Новые для него папиросы дедушке “очень пондравались”.

Еще дедушке “очень пондравилась” рубленая селедочка, придвинутая к нему “вся” Софой. Кажется, им же были съедены все “огурчики”, вся “капустка”, все... Помню, бабушка моя, наступивши под столом деду на ногу, что-то ему на ухо тихонечко пролепетала, что можно было бы перевести на язык высокой литературы следующим образом: “Ну-ка, дурень, перестань есть хозяйскую герань”. Приближалась подача вареной курицы с рисом (гостям подали курицу с вареным картофелем, украшенным

зеленым луком и укропом). Дедушка как-то очень быстро протрезвел, но Саре Соломоновне делиться с ним “Столичной” совсем не хотелось, поэтому она сделала некий знак Абраму Моисеевичу, и тот достал из резного буфета бутылку отборного коньяка. Полагая, что мой дедушка станет пить коньяк из коньячных рюмок, Инночка достала из буфета и их. Но дедушке приглянулись стаканчики. Коньяка он никак не оценил, а “выпимши”, обратился к Саре Соломоновне и ко всем присутствующим:

— А за девку мою вам, барыня, спасибо. И за внучонка. Век помнить будем и молиться о здравии. Завтра свечи поставлю в церкви-то ко всем святым угодникам.

— И к Николаю Чудотворцу, — добавила моя бабушка. — Храни вас Господь, и дом ваш, и чашу вашу. Дай вам Бог здоровьица и ныне, и присно, и во веки веков. Выпили и за это. Мать моя сияла. Еще я заметил, как сияли в ее ушах сережки с бриллиантками, а на шее такой же кулон на золотой цепочке. Не из той ли заветной корзиночки были они?.. Больше вроде неоткуда им было взяться. Они и теперь украшают ее маленький и просветленный лик.

Погостить в Ленинграде старикам все же не удалось, потому что городская жизнь со всеми ее необычными для них делами и оборотами им очень скоро наскучила и надоела. Они затосковали по своей деревне — по родине, как сказал дедушка. И через пару недель отправлены были в свою вологодскую глушь. Первоначально Сара Соломоновна намеревалась купить им подарков, но раздумала и “ограничилась” тем, что насовала им сотенных купюр во все карманы. Дед ошалел от таких милостей: “Пошто так много-то, барыня. Мне только избу починить да корове поправить сараюшку. Вот, может, еще и “Столичную” куплю”. За прощальным столом вдруг все запели: “Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой”. Сара Соломоновна утерла большим мужским носовым платком “скупую слезу” (прежде я ее плачущей никогда не видел) и вышла к “победе” проводить гостей. Абрам Моисеевич уже на вокзале вручил деду пять пачек “Казбека” и бутылку “Столичной”, а бабушке “в дорогу” лимонад. Мать провожала своих родителей до Бабаева, где благополучно посадила в уже ходивший в те годы автобус и погрузила их нехитрый багаж. Меня они с собой не взяли — в поезд, до Бабаева. Так и не удалось мне, всю жизнь поездив по свету, по Европам да Америкам, — побывать на родине моих предков. Чувство жгучего стыда и теперь сжимает мое горло.

В 1958 году дедушка с бабушкой умерли с разницей в один месяц. Мать и тетки мои ездили на похороны. И опять меня не взяли. Я высказал мою обиду Саре Соломоновне. Она мне тогда сказала:

— Похороны, дружок, не самое веселое предприятие. Всю жизнь я кого-нибудь хоронила. Только вот Самуила с Венечкой не довелось. Когда умру я, ты тоже, пожалуй, не приходи. А пока дай я тебя поцелую!

Сара Соломоновна дожила до весьма внушительных лет и умерла осенью 1990 года в Хайфе. Перед своим отъездом на историческую родину вместе с Мельтцерами, Зильберами, Сапотницкими и Замуилсонами в 1972 году она отдала моей матери свою роскошную каракулеву шубу, чернобурку, гору почти неношенной обуви, большой ковер и два отреза мне “на костюмчик”. Остальные “отделались” деньгами в мою пользу, на эти деньги я и купил свою первую квартиру в “хрущевке”. “Тамарочка” — Тамара Борисовна, о которой читатель уже все знает, — подарила мне много книг — всего Пушкина, Гоголя, Чехова, Фейхтвангера, Шолом-Алейхема и разрозненные тома Льва Толстого. Абрам Моисеевич и его жена Софья Давидовна — первую в моей жизни дубленку.

На проводах Сара Соломоновна мне сказала:

— Никогда ничего не получается на сто процентов, И не надо к этому стремиться. Постарайся быть лучше хотя бы на двадцать процентов — и дело пойдет. И запомни: хорошими людьми в жизни чаще бывают люди преуспевшие. Стремись к успеху — в своей работе, в своей любви, в своих будущих детях и внуках. И еще: не жди от людей слишком многого. И тогда, может быть, они дадут тебе то, на что ты рассчитываешь. И еще: жизнь чрезвычайно трудна и вся сплошь состоит из наших поступков. Только поступками и можно облегчить эту жизнь. У меня все. Дай я тебя поцелую!

В 1989 году, возвращаясь из своей первой поездки в США, я, как говорится, завернул в Израиль. Мне хотелось побывать на могиле моего учителя Д.Я.Дара в Иерусалиме, умершего там в 1980 году. Из Нью-Йорка я позвонил тете Инне Спотницкой, чтобы они меня там встретили (мы не виделись целых 17 лет!). В Лондоне я беспрепятственно получил израильскую визу и пересел в нужный самолет и через четыре часа приземлился в нужном месте. Меня сразу же повезли в Хайфу, так что могилу Давида Яковлевича я увидел лишь на обратном пути в Россию.

— Азохен-вей! Шлемазл, дай я тебя поцелую! Ты был в Америке?! Мазлдов! Где твоя мамочка? Очень болеет? Не переживай: больные живут долго. А о тебе я все знаю — о всех твоих приключениях. Скажи, мамочка получала наши посылки? Слава Богу! Ты, говорят, превратился в писателя и тебя впервые напечатали здесь, в Израиле?

— В этом не моя заслуга, — попытался возникнуть я со своими объяснениями. — И в Израиле, и в Америке все мои публикации устроил Давид Яковлевич.

— Знаю, знаю. Гадкий утенок! Кто бы мог подумать! Дай я тебя поцелую! — И поскольку сильнее всех прочих инстинктов в Саре Соломоновне был развит, как говорит моя мать, “кормительный”, она, повернувшись в своем кресле к “свите”, потребовала: — Что вы себе думаете?! Вы думаете покормить ребенка?! А мне по такому случаю — рюмку водки. Вы знаете — только “Столичной”.

— Вам водку запретили врачи, Сарочка, — вмешалась тетя Инна. — Вам нельзя. У вас сердце.

— Мне — можно, — угрожающе-требовательным тоном высказалась по поводу “Столичной” Сара Соломоновна. Явилась запотевшая бутылка “Столичной”. Принесли мою любимую фаршированную рыбу, правда, предварительно выложив ее на тарелку из стеклянной консервной банки фабричного изготовления. Принесли горю фруктов.

— Тебе здесь вкусно? — поинтересовалась Сара Соломоновна, не притрагиваясь к еде. — Тебе здесь хорошо, а? Сначала я выпью за твою мамочку, потом — за тебя.

— Сара, — осторожно дотронулся до руки Сары Соломоновны сильно постаревший Абрам Моисеевич, — только одну.

— Абрам, примите руки, — приказала ему Сара Соломоновна. Абрам Моисеевич руки “принял”. И уже обращаясь ко мне: — Фаршировать рыбу здесь не умеют. Здесь умеют делать красивых детей, а рыбу — нет. Ты помнишь мою рыбу на Столярном?

— Я все помню, тетя Сара, все.

— Да? Дай я тебя поцелую! Тебе в Америке понравилось? Что понравилось? Доллары? Мазлдов! Мне тоже. Мельтцеры просили меня остаться в Чикаго. Но шекели мне тоже нравятся. Ты вернешься в Россию? Правильно. Ты думаешь, у вас там все еще будет хорошо? Наверное, будет. Если, конечно, вы не будете мешать другим жить, как они хотят. Ведь это так просто! Я всегда жила как я хотела, ты знаешь. Но я давала жить другим.

— Мама вас часто вспоминает. Она всех вас помнит. Всех.

— Еще бы! Береги свою мамочку. Она тебе еще пригодится. Ты знаешь, что такое еврейская женщина? Она или самая красивая, или самая умная, или самая больная. К последнему мы особенно приспособлены. И русские женщины тоже все умеют. Они умеют рожать удачных детей. Умеют петь. Умеют пить. Умеют работать. А вот болеть они не умеют. Почему-то. Может быть, потому они живут трудной жизнью и редко бывают счастливы. Пусть твоя мамочка будет счастлива в тебе. Ты постарайся, да?

— Да.

— Я так и знала. Дай я тебя поцелую!

ПОСТ СКРИПТУМ

Вчера я прочитал эти записи моей матери. Она меня внимательно слушала, а затем спросила:

— Ты для кого это написал? Если для антисемитов, то поздно: легче дождаться конца света, чем конца темноты. Если для русских, то рано: когда мы прекратим хлопотать о собственном величии, мы, возможно, оценим величие других. И тогда только русские мальчики из приличных семей прекратят резать евреев в синагогах, а наше родное правительство станет охранять достоинство других людей и целых народов.

— Я написал это для себя, — ответил я, лукавя. — И для тебя.

— Для меня? Для меня ты можешь сходить за кефиром.

— Ну, может быть, еще для Егорки, — вспомнил я о своем двенадцатилетнем внуке. — Я надеюсь, он меня поймет.

— К сожалению, это зависит не только от тебя. А за Сару Соломоновну тебе от меня спасибо. Ступай. Я что-то устала. Да, и не забудь сходить за кефиром. Пока не началось.

Июль 1999 года



[Вернуться на главную страницу сайта «Круг интересов»](#)

Опубликовано на сайте [«Иудаизм и евреи»](#). Имя автора в источнике, к сожалению, не указано.

Операция «Обрезание»

«Настоящая справка выдана Марку Львовичу и Фаине Саввичне Левиным в том, что их сын Леонид подвергся обрезанию в ходе спецоперации по защите государственных интересов Советского Союза».

Отпуск 1991 года не был лучшим в моей жизни. Во-первых, он пришелся на начало мая. Во-вторых, от купания в холодной воде у меня заболели почки, и прямо с ялтинского пляжа я угодил в урологическое отделение Симферопольской областной больницы. Представьте себе энергичного молодого человека в палате на шесть коек и площадью 20 квадратных метров. Мои глаза видели даже то, что меня совершенно не касалось.

Как-то утром моему товарищу по несчастью на койке справа делали очередную процедуру. Я вроде смотрел на симпатичную медсестру и вдруг понял, что средних лет сосед, представившийся Леонидом Марковичем, обрезан. Тот перехватил мой взгляд и, когда сестра ушла, спросил:

— Что, никогда обрезанных не видел?

— Нет, видел, — ответил я, — мой дед, например, был обрезан. Ну а отец — уже нет.

— Понимаю, — сказал Леонид Маркович, — меня бы тоже не обрезали, если бы не большая международная политика. Я, само собой, ничего не помню, но знаю от отца. У него цепкая память профессионального военного.

Когда дело доходит до семейных историй и рассказчик не ограничен временем, он начинает издали. Леонид Маркович не был исключением из этого правила. Его повествование прерывалось процедурами и едой, уходило далеко в сторону и возвращалось по сложной кривой. Я попытаюсь воспроизвести все, что мне удалось запомнить, без совсем уж излишних подробностей и отступлений.

— Мои родители познакомились в конце второй мировой войны. Отец лечился после ранения в дивизионном госпитале, а мама работала там врачом. Лет им было примерно по тридцать. Знаю, что до войны оба имели другие семьи, но детей не было. Довоенные связи они — не знаю, почему — поддерживать не хотели. Поэтому отец с удовольствием принял назначение военпредом на станкостроительный завод в город Бердичев, где у них не было даже знакомых.

Вообще-то, Бердичев всегда считался еврейским центром, но мои родители были евреями только по паспорту и об этой стороне бердичевской жизни не очень задумывались, тем более что после войны евреев там почти не осталось. Они дружили с несколькими офицерскими семьями, которые точно были нееврейскими. Устраивали вечеринки, ходили в кино, любили танцевать, праздновали вместе советские праздники. Они даже имена себе изменили. Отец называл себя Марком Львовичем, мама — Фаиной Саввичной.

Я родился в январе 1948 года. Вечером, на пятый день после моего рождения, отец был дома и планировал, как завтра утром он заберет маму и меня из роддома. Вдруг в дверь позвонили. Отец пошел открывать без всякого энтузиазма: друзья и бутылки ему уже

порядочно надоели. Но за дверью оказались два совершенно незнакомых товарища, которые, не спрашивая разрешения, прошли по длинному коридору офицерского общежития прямо в комнату. Там один из незнакомцев, одетый в шинель без знаков отличия, показал отцу удостоверение начальника горотдела МГБ, взял стул и расположился в стороне, поближе к двери. Другой, в богатом ратиновом пальто с меховым воротником и отлично сшитом костюме, представился Владимиром Михайловичем, попросил отца сесть к столу, сам сел напротив и начал разговор:

— Марк Львович, прежде всего хочу поздравить вас с рождением сына и пожелать вырастить его достойным гражданином СССР!

Владимир Михайлович встал, крепко пожал отцу руку и после соответствующей паузы перешел к делу.

— Марк Львович, вы и ваша жена — боевые офицеры, коммунисты. Мы знаем, что вам можно доверять и что болтать лишнее вы не станете тоже. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Международный империализм в лице американского капитализма планирует создать на Ближнем Востоке независимое еврейское государство Израиль. По их замыслу, Израиль должен стать долговременным инструментом американского влияния в этом регионе.

Советский Союз не может стоять и не стоит в стороне от этих событий. Партия и правительство решили, что правильной тактикой на данный момент является политика сотрудничества. Американское правительство тоже нуждается в нашей поддержке и хочет сотрудничать. Но влиятельные еврейские лоббисты в американском Конгрессе пытаются создать обстановку недоверия. Главными их обвинениями являются антисемитизм и отсутствие религиозной свободы в СССР.

Сейчас в нашей стране находится с визитом полуофициальная делегация американских евреев. Посещения московской синагоги и беседы с раввином им показалось недостаточно. Через три дня они приезжают в Бердичев. Хотят посетить чью-то могилу и присутствовать на церемонии обрезания еврейского мальчика. Мы решили доверить эту операцию вашей семье.

Отцу даже не пришло в голову отказываться, он сразу понял, что это не тот случай. Тем не менее, попытался выразить сомнение в осуществимости плана и обратил внимание на неблагоприятные обстоятельства:

— Но в Бердичеве нет ни синагоги, ни моэла.

Владимир Михайлович успокоил его:

— Синагога найдется, а моэл приедет, пусть даже издалека.

— А он согласится?

— Он уже согласился. Моэл сказал, что давно соскучился по Бердичеву и будет счастлив обрезать еще одного еврейского мальчика. Попросил только, чтобы мальчик действительно был еврейским. Я дал слово. Выполнение этого обещания зависит и от вас, Марк Львович.

— Какие будут распоряжения? — по-военному спросил отец.

— Прямо сейчас — никаких. Завтра заберете жену из роддома, а в четверг ровно в 11:30 я на серой «Победе» буду ожидать вас около дома. Попросите вашу жену надеть длинное платье с рукавами и шляпку. Сами наденьте парадную форму и не снимайте фуражку ни при каких обстоятельствах. Между прочим, вы умеете читать на древнееврейском?

— Умею, меня научил дед.

— А на идиш говорите?

— Говорю, и жена тоже.

— Ну, совсем замечательно! До четверга!

Нежданные гости пожали отцу руку и ушли.

В четверг ровно в 11:30 принаряженные родители вынесли меня из дому. Машина уже стояла около подъезда. Отец усадил нас с мамой на заднее сидение, сам сел рядом с водителем. Тот поздоровался, и только по голосу отец смог узнать Владимира Михайловича. Его бритое вчера лицо скрывала большая клочковатая борода, на голове была широкополая черная шляпа, а из-под расстегнутого пальто виднелись черный костюм и белая рубашка. В последний раз отец встречал так одетых людей много лет назад в местечке, где гостил у своего деда, моего прадеда.

«Смотри, у них там даже гримеры есть», — подумал он.

Ехали недолго, остановились у районного Дома культуры, куда родители часто ходили в кино. Но теперь вход украшала не пятиконечная, а шестиконечная звезда. Вошли внутрь. Зал был тем же, но со сцены исчез киноэкран, который, как оказалось, закрывал дверку с занавеской. Отец вспомнил, что за этой дверкой должны храниться свитки Торы. Со стен убрали лозунги и плакаты. За ними обнаружили цветочные орнаменты в тон лепке на потолке. У входа появился столик с кипой книг на древнееврейском. Отец даже удивился собственной недогадливости: хорошо знакомое здание наверняка было когда-то синагогой.

Между рядами кресел медленно прохаживался человек. Первыми привлекали внимание его неправдоподобная худоба и неправдоподобный свет, льющийся из выцветших глаз. Одет он был в ту же черную униформу, которая висела на нем, как на вешалке. Человек подошел к родителям и заговорил с ними на идиш:

— Какое еврейское имя вашей матери? — спросил он отца.

— Рахиль.

— А вашей?

— Малка, — ответила мать.

— Какие ваши еврейские имена?

— Мордехай.

— Сара-Фаня.

— Вы понимаете смысл обрезания?

— Понимаю, — ответил отец, — заключение союза с Б-гом.

— Как вы хотите назвать сына?

— Лейба.

— Почему, если не секрет?

— В честь моего отца, — сказал отец.

— Его нет в живых?

— Они с мамой погибли во время бомбежки, когда бежали из Минска.

Человек закрыл глаза руками, помолчал и продолжил:

— Меня зовут реб Меир. Я буду делать обрезание вашему сыну. Не волнуйтесь, я делал это очень много раз и ни разу не отрезал ничего лишнего.

Потом реб Меир взял меня на руки, посмотрел и добавил:

— У этого мальчика необычная судьба. Когда-нибудь он будет жить в доме солнца.

Отец запомнил эту фразу, но что она означает, никто не сумел объяснить до сих пор.

Тем временем дверь синагоги открылась. Вошли примерно десять мужчин в таких же черных костюмах. Отец с интересом смотрел на американцев — здоровых, упитанных, очень уверенных в себе. А те рассматривали советских единоверцев с некоторым недоумением. Ни худоба, ни офицерская форма, похоже, не связывались в их представлении с привычным образом еврея. Отцу показалось, что один из гостей узнал реб Меира и что тот узнал тоже и дал знак молчать, но произошло это так быстро, что вполне могло и показаться.

Приступили к молитве. Командовал парадом Владимир Михайлович. Он виртуозно держался между реб Меиром и заокеанскими гостями, не давая им поговорить. Службу он вел легко, непринужденно и, по-видимому, без ошибок. Только раз американец попытался его поправить, но Владимир Михайлович мгновенно сказал ему на смеси древнееврейского и идиш что-то такое, что тот долго смеялся, цокал языком и одобрительно качал головой.

После молитвы меня обрезали. Потом принесли несколько бутылок водки и фаршированную рыбу. Родителей поздравляли. Американцы спрашивали, почему не присутствуют родственники. Папа и мама, не особо кривя душой, отвечали, что все погибли. Американцы подарили отцу зеленые доллары, которые он видел впервые в жизни, пожали руку и уехали.

Владимир Михайлович подвез родителей к дому. После нескольких рюмок в синагоге отец расхрабрился:

— Разрешите вопрос?

— Разрешаю.

— Откуда вы всё это знаете?

— В подробностях рассказывать долго, — задумался Владимир Михайлович, — а вкратце — я рос сиротой. Воспитывал меня дед, знаменитый полтавский раввин. Мечтал, чтобы и я стал раввином. В шестнадцать лет я сдал раввинский экзамен. А через несколько месяцев деда убили во время погрома петлюровцы полковника Болбочана. Я был молодой, горячий, поклялся отомстить, ушел в Красную Армию. Думал, что скоро вернусь в Полтаву. И никогда не вернулся... Что-нибудь еще?

— Владимир Михайлович, пришлите, пожалуйста, справку, что не мы с мужем затеяли всю эту историю, — попросила мама.

— Обязательно пришлю. Да, чуть не забыл: валюту нужно сдать.

Отец отдал доллары, машина уехала, меня понесли кормить.

Примерно через месяц отцу позвонили и попросили зайти в горотдел МГБ. Там ему вручили справку. На бланке Главного управления МГБ СССР было напечатано: «Настоящая выдана Марку Львовичу и Фаине Саввичне Левиным в том, что их сын Леонид подвергся обрезанию в ходе спецоперации по защите государственных интересов Советского Союза». Внизу красовалась подпись генерал-лейтенанта П.А. Судоплатова.

* * *

— Ну и как, пригодилась эта справка? — поинтересовался я.

— Да, один раз пригодилась, — оживился Леонид Маркович. — Когда я окончил Харьковский политехнический институт, меня загребли на два года в армию. Попал я в Забайкальский военный округ. Конечно, служить офицером — не то, что солдатом, но удовольствия все равно мало. Больше всех меня допекал политрук, капитан Синельников. Начнем с того, что я оказался первым евреем, которого он увидел собственными глазами. Во-вторых, как только я побывал в бане, ему доложили, что я обрезан. В-третьих, он читал газеты, смотрел телевизор и верил всему, что печатают и показывают. Верил потому, что был пьян, а пьян он был всегда.

Однажды, тоже спяну, капитан решил, что я израильский шпион. Эта мысль маниакально застряла в его голове. Может быть, на трезвую голову он бы успокоился, но трезвым он никогда не был. Каждый раз, встретив меня, он совершенно серьезно спрашивал нечто вроде:

— А бабы в Израиле хорошие?

Я вспоминал бравого солдата Швейка и не менее серьезно отвечал:

— Бабы везде хорошие!

Моим шуточкам пришел конец после очередных стрельб. Стреляли мы из автомата. Снайпер из меня никакой, а в этот раз даже в мишень не попал. Вместо этого срезал подставку, которая держала мишень. Капитан счел это особой удачей и на разборе стрельб громогласно заявил:

— Да, «Моссад» умеет кадры готовить, — и выразительно посмотрел в мою сторону.

Вечером он отправил донесение в особый отдел округа. Об этом мне доложил связист Сережа Коломиец, которому я помогал готовиться к вступительным по физике и математике. Мне просто повезло, что ночью я сумел дозвониться отцу.

На следующее утро за мной приехали два особиста, отвезли в Читку и посадили на офицерскую гауптвахту до выяснения обстоятельств. Отец, тогда уже подполковник, прилетел в Читку и пробился к начальнику особого отдела. Когда тот развернул справку и увидел подпись Судоплатова, он встал и читал уже стоя. Прочитав, негромко пробурчал себе под нос:

— Серьезный мужик был. Дело делал. Зря его посадили...

Меня в тот же день приписали к особому отделу. Там я и дослужил, ничем особенно не занимаясь. От скуки стал часто ходить в городскую библиотеку и в результате женился на библиотекарше. Появились дети.

Теперь они почти взрослые и хотят уезжать в Израиль.

— А вы?

— Я не против, но меня не отпускают родители. Они так и остались боевыми офицерами и коммунистами. Ну ничего, как-то все уладится. Поеду к младшему брату. Он уже там. Живет в Бейт-Шемеше.

Я тогда тоже собирался уезжать в Израиль, зубрил иврит днем и ночью. Ивритские слова «Бейт-Шемеш» сразу перевелись в моем мозгу как «дом солнца». Предсказание реб Меира стало для меня ясным, и я уверенно сказал Леониду Марковичу:

— Обязательно уедете!

С тех пор прошло много лет. Я иногда вспоминаю эту историю и обещаю себе выяснить хоть что-нибудь о реб Меире. Но каждый раз наваливаются повседневные заботы, и я откладываю реб Меира на будущее, которое, надеюсь, однажды наступит.

[Вернуться на главную страницу
сайта «Круг интересов»](#)